

«БИБЛИОТЕЧКА «КП»**В 1990-м ГОДУ ПЛАНИРУЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ

Юрий Андропов. Адам Михник. Дайнис Иванс. Вениамин Ярин. Николай Ежов. Анатолий Собчак. Ким Чен Ир, сын Ким Ир Сена, и др.

КАТАСТРОФЫ

После Чернобыля. Армения: черный декабрь. Что предсказывал «Апокалипсис»? От «Титаника» до «Комсомольца». Доберется ли СПИД до Чукотки?

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ

О чем чаще всего спрашивали в прошлом году? Есть ли у нас и сколько миллионов? Где хоронят радиоактивные отходы? Как смотреть «спутниковое» ТВ? Почем ракеты? Кто идет в ракетиры?

13310

наших соотечественников погибло в Афганистане. Мы до сих пор не опубликовали всех списков, чтоб вспомнить каждого поименно...

ПРОГНОЗ-90

Кто победит на выборах в местные Советы? Станет ли забастовок меньше? Жилье к 2000-му году: успеем? Будет ли XXII съезд ВЛКСМ? Кооперативы: рост или свертывание?

«Библиотечка» поступает только в розничную продажу. Все материалы предварительно будут опубликованы в «Комсомольской правде».

ISSN 0132-2138. Б-ка «Комсомольской правды». 1989. № 12. 1—48.



12

1989: НАДЕЖДЫ
И ТРЕВОГИ

БИБЛИОТЕКА «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ» № 12

Издается с января 1957 года

1989: НАДЕЖДЫ
И ТРЕВОГИ

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА». 1989

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Время работает быстрее нашей типографии. Пока этот сборник готовился к печати, «опальный» академик Абалкин стал заместителем главы правительства... Верховный Совет узаконил право (кто бы мог предположить еще год назад?! на забастовку... А о недавней нашей истории опубликовано столько, что «Новочеркасск, 1962», который редакция не могла опубликовать около года, кто-то, наверное, сочтет уже обычной статьёй...

Материалы этой книжки, отобранные из 15000 других, опубликованных в «Комсомольской правде» в прошедшем году, напоминают о том, как непросто и не сразу приходит то, что сегодня кажется очевидным. Этим они и дороги.

ДО ОСНОВАНЬЯ. А ЗАЧЕМ?

Я разревелась. Позорно, постыдно, «неадекватно». По радио звучала светловская «Гренада» («Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать...»), а вслед ей — та, наша, давняя:

Мы с тобою, товарищ не уснули всю ночь:

Все мечтали, гадали, как нам людям помочь...

Нет, хватит. Сколько же можно? Они что, издеваются? Радио было ни при чем. «Они» сидели внутри: многоголосые, скептические, трезвые, умные, скорбные. Какая Гренада, какая земля — крестьянам? Бредни мировой революции. Комсомольский поэт Светлов, революционная романтика, повинная в «охмурении» доверчивой молодежи несбыточными и опасными мифами. Тонкое манипулирование сознанием. Светлые песни, светлые кинофильмы, потоки света с экранов художественных и документальных фильмов, в то время как...

Что же мы-то, наивные дурачки, собираясь на свои коммунарские сборы в 60-х, 70-х, 80-х, так легко верили: «вот в предутреннем свете, над землею горя, на красивой телеге выезжает заря...» И вправду избрели пути развития общества, всего человечества навстречу этой жаркой мечте; мы не просто пели, мы так жили — всем своим существом: «не уснем мы, товарищ, надо нам обсудить, как на эту телегу всех людей посадить...»

Ну и что — приехали? Домечтались? Строили храм — построили котлован? И, значит, опасно и безнравственно предаваться какому-то мифическому свету каких-то нежизненных идеалов. Нужно иметь мужество отречься. На то и дан разум. Коммунистический субботник завершен, все по домам, ребята?

...Вот только бы понять, что же все-таки вновь и вновь так властно востребует душу, будто в словах тех нехитрых песенок, в символах тех, казалось бы, развенчанных мифов содержится все же некая властная правда, которая все равно остается жива, не убита даже самой радикальной постановкой проблем: какое у нас общество, какой социализм — казарменный или вообще никакой, и где социализма больше — у нас или у «них», и есть ли еще социализм и капитализм или уже другие «измы» нужны. И вообще какие уж тут идеалы на фоне нищеты, распри, разрухи — выжить бы...

Что же это за сила, которая все равно никак не дает мне вынести окончательный приговор, не дает пройти характерный сейчас для многих путь «от великой идеи, которую извратили, — до чудовищности своей идеи»?

После долгих сомнений, борьбы с собой вплоть до саморазрушения, мучительного разлада с окружающими, после честных стараний «отречься» я все же вынуждена признать: эта сила — власть идеала. Коммунистического идеала.

Раньше я не стала бы об этом писать. Вплоть до последнего времени это звучало бы как уверение в собственной истовой правоте и благонадежности. А это было бы неправдой. Ведь мы — те, от имени кого я и пишу, — этот идеал обретали, проживали как раз в противостоянии официальной идеологии и вовсе не связывали его с обязательным членством ни в партии, ни в комсомоле. Скорее наоборот...

А сегодня писать об этом трудно вдвойне. Ведь столько стало известно о чудовищных формах «воплощения идеала», о насильственных методах его реализации, что честному уму впору отшатнуться от него навеки, вычеркнуть, стереть начисто из памяти человечества. А призывы хранить ему верность — объяснить просто желанием правящей партии во что бы то ни стало удержать власть либо вполне понятной ностальгией старших поколений по собственной молодости, их упорным, слепым нежеланием признать глобальный обман всей своей жизни.

Но я сейчас не об этих призывах, требованиях, а то и угрозах. Они-то, как всякое давление, только усиливают желание у молодежи, у критически настроенных умов пройти скорбный путь отречения до конца. Мне бы понять как раз обратное: что не снаружи, а изнутри самой души не пускает дальше какого-то предела? Конформизм? Но сейчас конформнее и комфортнее, наоборот, тотальное отрицание всех этих идей и идеалов. Инерция порабощенного привычными догмами сознания? Но в отличие от более старших поколений мы уже в конце 50-х — начале 60-х были к ним глубоко равнодушны, томились на всех этих митингах и парадах, скептически пересмеивались за партами, обсуждая и новую Программу партии, улавливая в ней лишь чисто утилитарный смысл: когда там транспорт будет бесплатный, в 80-е?

И все же, томясь и пересмеиваясь, многие из нас подспудно, тайно друг от друга что-то искали. В романах Ефремова, Стругацких, в поэзии и философии. Вектор поиска был задан теми редкими, но такими емкими минутами полужабытого детства, когда душу охватывало и поднимало высокое, чистое, сокровенное чувство: «Взвейтесь кострами, синие ночи...», «Плывут пароходы — привет Мальчишу!», «Встань, барабанщик»... Вспомните: у каждого из нас в глубине души они живы, эти минуты. Что это было — детский участок тщательно продуманной тотальной идеологической мифологии, враждебной человеку? Но почему же тогда фашизм не оставил таких образов и сказок? Почему же герои Гайдара, Крапивина были для нас «одной крови» с Маленьким принцем Экзюпери?

Нам нужно было это чувство, без него мы задыхались. Это было чувство всеобщности, породненности с человечеством, нравственное планетарное сознание, выход в которое давал коммунистический идеал с его идеей помощи ближним и дальним — в масштабе всего человечества. Идеал — как духовная, нравственная сила, а не просто конкретная модель социально-политического устройства.

Мы могли обойтись без понятий классовой борьбы и классового подхода, без сроков построения коммунизма и уж тем более без насильственных способов приобщения к нему «несознательных масс». Но без самого коммунистического идеала человека, личности — не могли. И, я думаю, не сможем.

Ведь это такой же факт культуры, факт глубинного духовного бы-

тия народа, разрушить, отменить который было бы очередным насилием. Когда взрывали церкви, то многие тоже приводили доводы, что русский народ никогда не был глубоко религиозен — а только так, мол, чисто формально и поверхностно. Кто может с уверенностью сказать, что коммунистический идеал даже сейчас, после всех кровавых испытаний, изжит в народе? И может быть, в тех миллионах вдруг обнаружившихся у нас «консерваторов» следует видеть не только приверженцев тоталитарной системы, а своего рода проявление не до конца осознанного внутреннего сопротивления людей этому постешному искоренению идеалов? В том числе — стремление сохранить, не разрушить те самые общечеловеческие ценности доброты, человечности, братства, справедливости, которые, несмотря ни на что, существовали в сознании людей именно в форме коммунистического идеала, были сращены с ним?

Для нас, например, в наших коммунах он никогда не противостоял, не обрывал, а напротив, вбирал в себя и идею «русской соборности», о которой сейчас все чаще стали вспоминать, и этические искания христианства.

Идеалы — понятие более глубокое, тонкое и сложное, чем идеологические схемы и формы управления государством. Они не вырастают в одночасье одни взамен других, они по природе своей в отличие от политических доктрин беззащитны, как беззащитны вера, надежда, любовь, — ибо не формулируются с легкостью и точностью на рациональном языке (всеми забытый «Моральный кодекс...» — тому подтверждение). К ним и отношение должно быть бережное, сохранное. Иначе, приняв шить лечить народ от того, что нам кажется «социальной психопатией», не сломаем ли мы, подобно чересчур уверенным в себе психиатрам, саму его душу?

Конечно, испытание отрицанием, разрушением — тоже своего рода очищение. Тем более что идеологического хлама и мертвечины именно в области «коммунистического воспитания» скопилось столько, что хватит не на одно поколение разрушителей. Но все-таки одновременно с ними нужны и те, кто строит. Тем более сейчас, когда для страны так важны все крупницы, несущие в себе идею духовного единения людей, будь то религиозные, экологические, национальные, общекультурные ценности.

Если сбросим при этом со счета коммунистический идеал либо отдадим его опять в руки толкователей и авторов разнообразных «теорий и методик коммунистического воспитания», не оборвем ли и без того тонкую нить между поколениями, не прервем ли в очередной раз преемственность культуры, вышвырнув теперь из нее уже «красные» ценности?

Или, может, все же задумаемся о духовной силе этого идеала, с которым так трудно до конца распространиться?

Понимаю, что вроде не до того сейчас. Но убеждена: забота об идеале не менее насущна сегодня, чем о товарах и продовольствии. Впервые за всю историю «Комсомолки» в почте редакции больше всего писем от ребят, которым не во что верить. Часть из них была опубликована 7 сентября с комментарием И. Руденко, начинающим дискуссии «Как жить?». Но в том-то и дело, что сегодня этот вопрос практически равнозначен другому: во что верить. Проблема так остра, что, бывает, из-за нее дети кончают жизнь самоубийством. Можно, конечно, винить в этом только кризис системы ложных, догматических идей. Но вдруг со временем окажется, что не все в этом идеале ложно, не все — догма?

Что тогда мы скажем нашим ребятам? Что опять нас обманула печать, теперь уже в эпоху гласности?

Давайте лучше спросим у самих себя. Давайте верить себе — у кого все-таки внутри есть, во что верить. Не будем этого бояться: ни собственных сомнений, ни — веры.

О. МАРИНИЧЕВА

ЛУННЫЙ ЛАНДШАФТ,

или Что вырастет на нашей социальной почве? Этот и другие вопросы академик Л. И. Абалкин задал нашему обозревателю Александру Афанасьеву и читателям.

С этим интеллигентным человеком мы познакомились прошлым летом, примерно недели за три до того, как он стал широко известным. Запомнилось: клетчатый неброский костюм, глуховатый голос, гладко зачесанные темно-русые волосы, глаза, внимательно и заинтересованно глядящие на собеседника поверх очков. Место знакомства — Швеция, правительственный дворец «Хага» в пригороде Стокгольма. Зеленые аллеи, пронизанные белым северным солнцем.

«Леонид Иванович! — окликаю я его. — Извините, что завожу разговор здесь. Но коль уж оказались в одной делегации, не мог упустить случая...» Десять шагов вперед по аллее, десять назад: в манере разговаривать, во всем его облике чувствуется старомодная человеческая доброта. Не уходит от вопросов. Если не может ответить — смотрит долго и грустно, прямо в глаза: дескать, ответ настолько очевиден, что об этом, молодой человек, говорить вообще-то не принято... С ним легко. Чуть позже я понял, почему. Он говорит не со всей советской прессой в твоём лице, как принято у людей именитых. А с тобой. Ты ему интересен — с твоей точкой зрения, ежели она, конечно, есть. Я себя перепроверял. Говорил: просто не привык еще человек к роли популярного академика и директора ключевого института. Но вот с момента партконференции, где Абалкин выступил, и выступил, мяжко говоря, неординарно, прошло время, опубликованы десятки интервью, имя это стало одним из символов экономической реформы, а он по-прежнему смотрит в глаза, ему, кажется, важно, действительно важно, что думает по тому или иному вопросу человек вне зависимости от постов и званий... Еще штрих из первых встреч. Когда хорошенько познакомились, поняли друг друга: «Никогда не прибегал к посторонней помощи. Теперь чувствую, исчерпал все средства. Буду апеллировать к общественному мнению...» Прошло несколько недель. И он выступил на Всесоюзной партконференции. Остальное вы знаете...

У него был нелегкий, но удачный год: в эпоху гласности и критика вызывает незапланированные результаты. У него был удачный год, но нелегкий: ответы на многие вопросы, адресуемые ему, зависят в конечном счете не столько от него, сколько от состояния тех самых производительных сил и экономических отношений, о которых он говорил на конференции и которые не могут обновиться враз — даже если в происходящих процессах представить участие лично Карла Маркса.

Но отвечать и ему, Абалкину. И это он понимает прекрасно.

Едва я вошел в кабинет директора Института экономики АН СССР, Леонид Иванович мне с порога сказал:

— Ваша идея поразмыслить в который раз о реформе, о ценообразовании и т. д. меня, извините, не взволновала. Давайте так сделаем. Напишите: когда я приехал на Красикова, 27, Абалкин отказался отвечать на вопросы редакции, после чего сам задал несколько вопросов... Согласны? Готовы отвечать вместе со мной?

Я сразу дал согласие. Насчет готовности вышла, правда, заминка: все-таки не каждый день перед академиками приходится держать ответ. Но в конце концов я набрался нахальства и выразил всем своим видом готовность.

— В таком случае, — медленно произнес Леонид Иванович, — я должен для начала констатировать. Предусмотренные реформой действия, на мой взгляд, в целом оправданны. Так бы поступил разумный человек в любой точке цивилизованного мира: альтернативы нет, необходимо остановить сползание к пропасти, радикально обновить социализм.

Но сейчас становится видно отчетливее: решения рассчитаны на определенные социальные силы. А их у нас либо нет, либо они находятся в зачаточном состоянии, это и предопределяет сложность, длительность процессов, которые нам предстоит пережить.

— То есть мы ломились в закрытую дверь, уверовав, будто и с той стороны стучатся в ту же дверь массы предпринимателей, деятелей, хозяев — но вот чуть-чуть только, на сантиметр отжали створку, — и теперь видно: деятелей нет!

— Они есть. Но мало их для такой огромной страны, чрезвычайно мало. Если не административная система, то что-то другое должно принимать на себя нагрузку. Что? Общество?

— Общество, Леонид Иванович. Правда, если мускулы атрофировались, общество вряд ли в силах на первых порах держать в вертикальном положении даже само себя...

— Вот именно! И нам нужно вместе рассчитать, какие средства необходимы и сколько времени надобно, чтобы, двигаясь выбранным курсом, восстановить животворящий слой, почву, если хотите, социальный гумус, без которого не вырастить новое качество жизни.

Леонид Иванович говорил, а я попробовал представить, что сейчас происходит. Мы как бы держим перед собой некую Книгу, в которую тысячелетиями вписывались полезные социально-экономические рецепты: что и в какой пропорции надо брать и в какие сроки сеять? И вот берем, сеем, поливаем. И... не растет. А если растет, то не столь дружно, как в рецептах сказано. Секрет же прост: никакими рецептами в истории мировой цивилизации не предусматривался драматический момент, когда придется бросить семена не в почву, а в камни. Красив лунный ландшафт, остающийся после грандиозных и впечатляющих катаклизмов, но это, увы, не та красота, которая способна спасти мир. От эдакой красоты веет далеко не жизнью...

Социальный гумус — это накапливаемая десятилетиями культура труда, быта, общения. Это — бережно передаваемое от поколения к поколению Знание. Это — отношение как к ценности к собственной быстройтекущей жизни, ко всему тому, из чего жизнь складывается. К людям, знакомым и незнакомым, к вещам, своим и не своим. К орудиям и плодам труда, которыми так или иначе тебе приходится пользоваться... Когда нет этого живительного гумуса, на его месте скапливается и камнеет грязь. Пьянство, длинные очереди, хамство — везде, от автобуса до присутственных мест, изрезанные скамейки в электричках, унижение

и уничтожение, приправленное нередко едва ли не сладострастием... Еще большая беда, что мы чаще всего оказываемся не способны на очистительное возмущение. Наше недовольство рассеивается. Мы взрываемся по мелочам. Выплескиваем раздражение — на прошлое и друг на друга.

— Сколько же лет потребуется?

— Будем считать, это и есть мой первый вопрос. Я недавно побывал на крупном радиозаводе, начинавшем когда-то с нуля. Теперь завод имеет костяк высококлассных профессионалов. И выпускает аппаратуру очень приличного качества. Но чтобы дорасти до этого уровня, понадобилось двадцать пять лет.

— Двадцать пять лет!

— Это если совсем с нуля. Но надо набраться наконец мужества и сказать прямо: за 2—3 года достигнуть мирового уровня с нашим состоянием производительных сил практически нельзя.

— Производительные силы, Леонид Иванович... Вы имеете в виду современные машины? Но их можно купить.

— Я имею в виду прежде всего людей. И машины, которые эти люди делают. Я имею в виду культурный слой. Производственный, технологический, научный, бытовой. Он был развеян ветрами «преобразований». Мы слишком долго боролись с интеллигентностью (во всех социальных сферах — от земледельцев до профессуры), с вышесредними способностями и умениями, с «нездоровыми» инстинктами, на которых извечно и держалась жизнь. Мы слишком упорно двигались вспять, чтобы за считанные годы «вскочить» в то качество жизни, которого высокообразованные соседи наши добивались десятилетиями, а то и столетиями.

— ?!

— Да-да, столетиями. Это как-то недавно на одном из международных симпозиумов вышел спор: какой срок необходим, чтобы доказать преимущество социализма? Одни говорили: десять лет. Другие: двадцать. Потом сказали: сто! Тут начали бурно возражать. Тогда я встал и сказал: по большому счету, коллеги, так ли уж важно, сколько? Важно, как вы понимаете, все-таки преимущество доказать!

Ну, а что касается машин, их можно купить. Но что они без миллионов умелых хозяйских рук? Машины купим. Народ не «купишь».

— С вами трудно спорить, Леонид Иванович. Но вы говорите о каких-то немых сроках, когда мы уже привыкли к утверждению, что нам отпущено совсем мало времени...

— Ну зачем же гадать? Речь о том, чтобы существенно продвинуться в своем развитии. Потребуются, вероятно, усилия одного-двух поколений. А сколько лет, 17 или 25, кто же знает?

— Но тут и гадать не надо. Посмотрите, какие зигзаги в нашей истории. От военного коммунизма резкий поворот к нэпу. От нэпа сто восемьдесят градусов к сталинским колхозам. От них некоторое отклонение. Потом сдали в план по мясу молочное поголовье, нашли нефть и залегли в застойный штиль... Какие гарантии, что при смене поколений не переменится курс?

— Вот это второй вопрос вам.

Но я бы только углубил сформулированную на сегодня проблему. Конечно, следует позаботиться о гарантиях необратимости. Но впереди и приливы, и отливы. Так вот, реалистичнее позаботиться, чтобы при отливах мы не потеряли напрочь то, что с великими трудами накопим сейчас.

— Вы предвидите отливы?

— Надо стараться быть честным. Вот еще эпизод. Один иностранный ученый мне говорит: популярность вашей перестройки растет, что-то будет лет через пять — десять? А я ему: но ведь у любого переживания есть пределы? Даже эмоциональные пределы, так ведь? Поэтому непрактично делать ставку на эмоции, на взлет, взрыв... Нужно успеть и заложить заделы на десятилетия. Когда и меня, и даже вас не будет — а эти заделы только заработают. И обеспечат очередной сдвиг.

— Господи, да сколько ж можно говорить о светлом будущем?

— Беда наша, что мы много говорим, много строим (железобетона), а культурное строительство, этот поистине стратегический потенциал державы, отодвинули в третьестепенные задачи... Обратитесь к Японии, присмотритесь к Швеции, где мы с вами были, — любая нация, хотя бы из-за одного инстинкта самосохранения, вкладывает в будущее. И почти не распространяется об этом... На поверхностный взгляд это как в прорву. Ни сегодня, ни завтра не получишь отдачи. Но ведь тут непрерывность! Кто-то в 30-е годы в нынешних шведов вкладывал. Его уж нет, а получилась цветущая, полная сил, качественная нация.

— Лет через двадцать мы осознаем, наверное, что железобетонные наши победы не более чем экскремент цивилизации.

— Тем горше уже сегодняшнее понимание: никакие кирпичи и железо не залатают дыр в национальной культуре, интеллекте.

— В прошлом году, Леонид Иванович, у Виктора Боссерта на «РА-Фе» на предмет создания совместного предприятия побывали два вице-президента американской компании «Крайслер». Более всего, как они говорили, их привлек тот факт, что имеют дело с первым советским выбравшим директором. И вот там у них получилось характерное противоречие. Боссерт, человек энергичный, был за то, чтобы как можно скорее монтировать оборудование. Американцы осторожничали: давайте сначала поможем вам довести до «блеска» нынешнюю технологию, модель... Только потом я понял, что тут не простая осторожность. Тут другое. Американцы, видимо, слишком хорошо понимают: надо сначала саму рабочую силу до «блеска» довести, иначе капризное современнейшее оборудование будет просто напросто молотками и кувалдами раскурочено: не от злого умысла, конечно, от самых благих намерений. Так умеем. Так мы работаем пока.

— У нас какое-то массовое непонимание, сколь разительно индустриальная ситуация 30-х годов отличается от ситуации технологической конца 80-х. По горизонтали, по «грубому» железу, по клепке «догнать и перегнать» можно без интеллекта, без виртуозного мастерства, энтузиазма и физической силой. Сейчас же разрыв по вертикали. Разрыв в воспитании, в культуре — как разрыв в эпохах. Физическим ускорением эту пропасть не одолеешь. Нужны миллионы совсем других работников!

— Недавно был в «Экране» и рассказал о сюжете (не буду вдаваться в детали), из которого было бы видно, как и насколько отличается наш работник, скажем, от работника западного. Очень хороший режиссер предложил написать заявку. Но заметил при этом: а не обидно ли будет? Ведь это как пощечина?

— Обидно, конечно. Но нужен, наверное, какой-то шок, чтобы мы наконец за самих себя оскорбились! Ведь это же срам: Россия мастерами славилась, и сейчас есть мастера и хозяева, но нет слоя мастеров и хозяев. Нет качества массы... Причем я имею в виду и управленцев, и экономистов, и финансистов. Вот наши публицисты предлагают смело: надо-де банки сделать нервными центрами экономической жизни.

А наберется ли у нас в многомиллионной стране хоть с десяток людей, которые разбираются по-настоящему в банковской политике? А руководители? Ведь многие из них искренни, когда превращают исконно мирное хлеборобское дело в сокрушительные битвы за хлеб... Надо уже сейчас готовить новое поколение управленцев, советских менеджеров, способных руководить без крика, без ударов кулаком по столу, умеющих видеть и отдаленные перспективы... А это опять же дело не одного десятка лет.

— Эти битвы, Леонид Иванович, эти систематические экспроприации с календарной точностью вскрывают раны, едва успевающие за год зарубцеваться. О каком же наращивании социального гумуса вести речь, если «машинка», заведенная во времена военного коммунизма, с редкими перерывами измолачивает нарождающуюся хозяйскую психологию до сих пор столь же исправно?

— Против машины может действовать только машина. Система — это ведь, увы, не только аппарат. Это клубок отношений, вросших в десятки миллионов людей: рабочих, колхозников, агрономов, инженеров, учителей, врачей, руководителей. Я специально поставил руководителей на последнее место. Это так. Ведь без широкой социальной опоры, без глубоких корней в могучей, массовой уравнивающей психологии консерватизм на поверхности долго бы не удержался.

— Идеология вросла в психологию...

— Идеология стала психологией. Поэтому я поддержал бы акцию по укоренению аренды, которую вы проводите в Орловской области. Я бы и сам туда съездил, если найдется в ближайшие месяцы время. Надо создавать такие социально-экономические островки, экспериментальные, опережающие зоны. Из них, есть надежда, и разрастется система обновленного социализма.

— А разрастется? Дадут?.. Вы хоть и отклонили мои вопросы о «текущем моменте», но ведь без него стратегии не построишь. В редакции приходят сотни писем: аппарат все сильнее давит на предприимчивых директоров и кооператоров. А теперь Совмином приняты два новых решения, вводятся дополнительные ограничения...

— Прямо скажу, менястораживают даже не ограничения: тут можно еще обсуждать и спорить, какие виды кооперативной деятельности стоит поощрять, а какие нет? Бесспорно другое: предприимчивые люди ставятся под контроль ведомства. А по концепции, заложенной в основу экономической реформы, имелось в виду прямо противоположное. Кооператоры, составляя конкуренцию государственному сектору, должны были содействовать разрушению ведомственной монополии. Той самой монополии, которая и привела к застою, к утрате качества... В результате последних мер эта монополия только укрепится, законсервируется нынешнее состояние...

— Сейчас обсуждается вопрос, у кого надо арендовать землю? У колхоза или у Советской власти?

— Конечно, у Советской власти. В противном случае это политико-экономический нонсенс! Если хороший колхоз, то он обойдется и без арендного костыля. А если колхоз лежит, то чего мы добьемся таким поднаймаем? Закроем глаза на то, что развалившаяся, нежизнеспособная структура паразитирует, по существу, на живом организме аренды? Нам что требуется: дискредитировать и задуть нынешнюю реформу? Оправдать как-то «великие переломы», задвинув под мертвую шкуру результаты преобразований действительных? Нет? Значит, и ответ однозначный.

— Но ведь колхоз, жизнеспособный или напротив, получил землю в вечное пользование?

— Вечное есть пожизненное. А когда прежний хозяин умирает, землю получают наследники.

— Леонид Иванович, я знаю, что институт, возглавляемый вами, разработал целую программу ликвидации убыточных предприятий.

— Да, и предлагаем сэкономить на этом 20 миллиардов рублей. Вот реальные деньги для повышения уровня жизни уже сегодня. Но одна поправка: ликвидация убыточных госпредприятий. Это кооператоры и арендаторы нам подсказали: надо снимать с госбаланса, выводить из госбаланса, выводить из категории государственных, но если есть желающие предприятия взять в аренду, то зачем отказываться?

— А если нет желающих? Если и продукция его никому не нужна? Или экологический вред во много раз превышает экономическую пользу?

— Есть и такие предприятия. Я говорил недавно в Совете Министров. Меня поддержали: надо провести ряд показательных закрытий. Чтобы отработать модель: как ликвидировать ненужные обществу и государству хозяйственные подразделения с наименьшими социальными, экономическими и политическими потерями. Здесь очень многое могла бы сделать пресса. Как вы, беретесь?

— «Комсомолка», Леонид Иванович, возьмется, разумеется. Но у нас встречное предложение: не начать ли с Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, наносящего колоссальный вред Байкалу, ставшего настоящим символом конфронтации консерваторов перестройке... Ликвидация БЦБК явилась бы воистину патриотическим актом. Как вы считаете, Совет Министров это поддержит?

Леонид Иванович в ответ усмехнулся:

— Давайте сначала опубликуем предложение! А там посмотрим, кто поддержит, кто нет. Мое мнение: БЦБК надо срочно ликвидировать, не откладывая на годы. Вообще, знаете, должны быть абсолютные ценности. Нельзя в принципе высчитывать, как вы сказали, превышает ли вред пользу? Если хоть один процент вреда, то и разговоры быть не должно. Считать в таком случае — это даже не прагматизм. А примитив, убожество, преступление! Это бескультурие, когда, скажем, профсоюзный лидер на цифрах убеждает: нужны заводу бассейны, сауны и тогда заболеваемость снизится на столько-то процентов... Да, не от станка, дорогие, давно пора считать. От здоровья, от генофонда нации! Я заметил: чем меньше народ, тем больше у него деятелей, мыслящих в национальных масштабах. Нас называют великим народом. А судьба великого народа «приторочена» к единицам продукции? Значит, масштабно мыслящих людей нужно осознанно растить, воспитывать. Как конкретно сделать народное здоровье, благополучие, культуру ценностями на уровне патриотического абсолюта, святыни, я с ходу ответить не могу. Тут третий для меня вопрос. Но что без этого мы не выживем как великая держава — я уверен стопроцентно... Мне бы хотелось сейчас обратиться ко всем мыслящим, болеющим за страну людям: рабочим, селянам, городской и сельской интеллигенции. Обратиться к патриотам, к гражданам, к соотечественникам. Мы сейчас в таком трудном положении, какое наша Родина давно не переживала. Выход из застойного прошлого — это и освобождение от стойких массовых иллюзий. И прежде всего от иллюзии, будто у нас «все в порядке», достаточно ослабшие гайки подтянуть. Будем честны друг перед другом: у нас все не в порядке. И в первую очередь тревожит теперь, что мы разучились работать. Но еще

хуже: мы не отдаем в том себе до конца отчета. Мы не осознали это как народное бедствие. Мы не поняли, что только сможем вытащить себя, извините, из этой «дыры», в которой оказались, когда «освободили» миллионы как от хозяйских прав, так и от гражданской ответственности.

Надо заново научиться уважать в себе мастера, ценить честную, качественную работу...

Вот мои, если хотите, вопросы. Ответить на них один человек не способен. Но по капле здравого смысла собираются реки, не только ручьи. Надо собрать народный опыт. Все, у кого есть о чем сказать, чем можно со всей страной поделиться, напишите, расскажите, сообщите. Иных вариантов у нас нет. Иначе не спасем, не восстановим себя...

8 февраля 1989 г.

P. S.

Когда газета опубликовала эту беседу, была зима. Когда я пишу это послесловие, на дворе осень. Прошел почти год, за это время утекло не только много воды... Как известно, Леонид Иванович Абалкин назначен заместителем Председателя Совета Министров СССР. По сути, теперь он отвечает за экономическую реформу. Ему и карты в руки, теперь вроде бы куда легче осуществить все, о чем он в беседе говорил. Но... не забудем все же, что именно он говорил. А говорил Леонид Иванович, например, о сроках преобразований. О глубине той «дыры», в которой мы оказались. Чтобы выбраться из нее, понадобится явно не 3—4 (не раз объявляемых) года, а 10, 25, может, и больше. Это не означает, конечно, что надо сегодня сидеть сложа руки. Однако следует отдавать отчет: куда не будет. В смелых, высказываемых сегодня предположениях, будто академик за короткий срок раскидает глыбы, навороченные за 70 лет, — скрыта либо наивность, либо тщательно скрываемое злорадство: посадим-де его в высокое кресло и посмотрим, сможет ли академик что-то сделать... Недавно я виделся с Леонидом Ивановичем. Узнав меня, он улынулся и невесело пошутил: «Вас еще не посадили?» У меня на языке вертелось, хотел ответить в тон: «А вас уже посадили!» — но удержался, слишком уж это мне показалось похожим на правду.

Что ж, мрачный юмор. А если серьезно, то будем смотреть в завтрашний день с некоторой долей оптимизма: у Л. И. Абалкина есть первоочередная программа оздоровления финансов, всей экономики. Есть, я думаю, и желание, и возможность заложить тот фундамент для будущих поколений, о котором он говорил в беседе. «Нас уже не будет, а сделанное сегодня и через поколение обеспечит благоденствие нации...» Пожелаем же ему — и в том, и в другом — удачи.

P. P. S. Когда я пишу эти строки, на дворе осень. Вопреки календарю и некоторым не самым радостным прогнозам очень хочется надеяться, что вслед за осенью наступит не зима, а весна.

А. АФАНАСЬЕВ.

Октябрь 1989 г.

Первое ощущение — будто попали в семнадцатый год. У двери — рабочий патруль. Строгая проверка документов: кто такие, зачем?

На шахтах двоевластие. Производственным процессом руководит инженерный корпус, работу которого все настойчивее пробует контролировать стачечный комитет. Общее управление формально у административного аппарата, фактически же — в руках стачкома. Без его резолюции не принимается на шахте ни одно решение. Они сами взяли эту власть, сами возложили на себя всю полноту ответственности. Так те ли люди встали у руля?

Те или не те, но встали. Других не нашлось. На крутой забастовочной волне, когда недовольство грозило перерасти в бунт, когда толпа казалась уже неуправляемой, какие-то силы общественного самосохранения вытолкнули на стремнину именно их, а они превратили толпу в организованный отряд рабочего класса — того самого класса, о существовании которого мы было уже и позабыли.

Сегодня признается всеми: забастовка явилась крайней, но необходимой мерой. Она стала реакцией на бюрократическую неповоротливость нашей государственной машины. Рабочие ведь не выдвинули ничего, что не поднималось бы на различных уровнях раньше: на партийных пленумах и сессиях, на профсоюзных конференциях и в печати. Дать полную экономическую и финансовую самостоятельность шахтам, предоставить им право самим продавать сверхплановый уголь. Усовершенствовать систему организации и оплаты труда. Позаботиться о людях, получивших в шахте заблуждение или увечье, вернуть рабочим санатории и дома отдыха и т. д., и т. п. Вопросы поднимались, но не решались. Стало понятно, что существующие институты власти не в состоянии изменить жизнь шахтеров. Громоздкая, морально устаревшая административная машина, в которую попытались вложить новую программу, стала просто-напросто пробуксовывать. Широкие же массы людей, призванных эту машину обновить, по-прежнему держали в стороне от руля. Демократизация допускалась лишь в тех пределах, как ее понимал партийно-управленческий аппарат. Профсоюзы по-прежнему защищали администратора. Советы трудовых коллективов под неформальным, а порой и формальным руководством директоров никак не могли поделить власть с профсоюзами. Рабочий контроль, поставленный под контроль административно-торговой коалиции, либо бездействовал, либо набивал в подсобках собственные сумки. И все это на фоне речей о перестройке, о ее несомненных успехах и победах. И не виделось силы, способной все это сломать, взорвать, заменить, потому что рабочий класс представлялся не более чем рабочей силой.

Но вот грянула забастовка. И растерялись все те, кто привык видеть себя во главе колонн. Не нашлось ни одной формальной организации, которая смогла возглавить движение, влиять на него. Потом спохватились, кинулись помогать и помогли, чего лукавить, но доверие все же утратили. Теперь шахтеры полагались уже только на себя. Стачкомы — та организация, которую от начала до конца создавали они сами.

Поначалу их пытались стеснительно именовать «инициативными комитетами», уже самим определением подчеркивая временный характер формирований. Вот закончится «инициатива» — должна же она когда-нибудь закончиться! — и те, кому положено, вернуться в забой. А другие останутся наверху. А третьи выкатят из гаражей застоявшиеся «Волги» и поедут докладывать по инстанциям о завершении чрезвычайного

происшествия. Потому что представить жизнеспособным выборный орган, созданный не по правилам — в течение одной ночи среди шума, мата, отсутствия анкет, никем не санкционированный, а потому незаконный, — просто немислимо.

Действительно, со стороны рождение стачкомов напоминало броневое движение, где на поверхность выплывали совершенно случайно, с одной фразой: «Братцы, вы мне доверяете?» И точно так же втягивались назад, вовнутрь: «Уже не верим!». Поводом для избрания мог послужить пустяк. Скажем, накануне «загрызся» с начальником участка — значит, смелый мужик. Для ниспровержения требовалось и того меньше. Иногда хватало даже не самого поступка, а слуха — они в дни забастовки плодились со сверхзвуковой скоростью.

«Предал интересы рабочего класса». Такую формулировку, по временам революции сулившую неизбежную «стенку», припечатывали довольно многим. Ее приходилось видеть и в протоколах заседаний стачкомов (там, где их успевали вести, разумеется).

Забастовка — это не только мирное шествие с лозунгами. Возникающая стихийно, она и порождает много стихийного. Генерального директора одного из объединений заставили есть хлеб с икрой, найденной в орсовских подсобках. Секретаря горкома выдерживали перед микрофоном, не давая объясниться, обвинив его перед этим в злоупотреблениях. Другого крупного политического руководителя вовсе отказались слушать.

Гроздь гнева.

Но и это лишь цветочки. Под горячую руку затапливались забои. Горячие головы предлагали вывести из строя воздухоподающие насосы. Как будто не им потом восстанавливать разрушенное. Надо было не допустить беспорядков, не спровоцировать ответную реакцию государства. Но пойти против воли толпы — порой все равно что подняться во весь рост под пулеметы.

Они поднимались. И, бывало, дискредитировались как рабочие лидеры, а их место занимали горлопаны. Но и те потом скатывались вниз. Стачка была большой драмой, и стачкомы формировались в ожесточенной политической борьбе. Мы не оговорились, именно политической, потому что стачка, несмотря на ее экономический характер, стала явлением все-таки политическим. Драматизм ее усугублялся еще и спецификой угольного производства.

Шахтная лава не кабинет с полированной мебелью, на неделю пустой не бросишь. Кому-то надо и в пору митингов поддерживать ее в рабочем состоянии, вентилировать, откачивать воду. Но человек, который, уже теперь от имени «новой власти» отдавал распоряжения выйти на работу, балансировал над пропастью. Шаг влево — и конец многолетнему труду коллектива, который, добившись прав, не сможет реализовать их на загубленном производстве. Шаг вправо — и клеймо штрейкбрехера на лбу. Нередко, встав во главе шахтных стачечных комитетов и поневоле влезши в «шкуру» директора или главного инженера, рабочие лидеры через сутки-двое слагали полномочия. И уже следующий состав комитета сознательно включал в себя «спецов» из числа итэрозовцев или руководства. Бессонных суток в принципе хватало, чтобы осознать лозунгом «Долой бюрократов, которые на нашей шее сидят!» не стоит громить весь инженерный корпус.

Это не подводка к тезису о собственной беспомощности горняков. Но смеем утверждать, что именно стачкомы, в которые пришли рассудительные рабочие и думающие инженеры, коммунисты, отличающиеся не только наличием партбилета в кармане, и на самом деле народные депутаты, истинные комсомольские лидеры и настоящий профсоюзный

актив, вывели забастовку в русло конкретных решений. И, напротив, охрипли и ожесточившиеся в площадных дебатах комитеты, откуда выбросили «инакомыслящих», загребали против течения здравого смысла, то меняя требования, то дополняя их самыми разнообразными пунктами — начиная от немедленного приезда Горбачева и кончая продажей пива в любых количествах днем и ночью...

Но было и такое, когда членов стачечных комитетов — нормальных в общем-то людей — пытались представить сплошь экстремистами и социально опасными элементами.

...Снежное «держалось» долго. Уже бастовали соседние Шахтерск, Торез, Горловка, и депутации на мотоциклах и автобусах осаждали нарядные перед сменой: «Почему не поддерживаете?» Надеялись обойти требования, переданными в комиссию Совета Министров СССР и ВЦСПС. Не удалось.. Вспыхнуло и тут — к концу недели, когда весь донбасский костер уже начинал затухать. По мнению В. Малиновского, первого секретаря горкома партии, сразу помогли разнести газеты, ежедневно публиковались перечни работающих и не работающих угольных предприятий.

Кстати, при первой нашей встрече возле горкома партии партийный секретарь себя не назвал. Более того, отправил искать себя на площадь, где как раз кипели страсти. Потом признался: да, это я, — и согласился набросать коллективный портрет стачкома.

Пестрая картина рисовалась со слов секретаря... Очень несерьезные люди баламутили Снежное. Один, хотя прежде ходил в почете, награжден, все такое прочее, запил, разошелся с семьей, положил партбилет. Второй — «летун», горлопан, дешевую славу ловит. «Еще Сибиркина, наша обиженная...» — в голосе В. Малиновского звучал неприкрытый сарказм.

О Л. Сибиркиной «Комсомолка» недавно писала («Смазка», «КП», 27 июля с. г.). Именно ее, женщину, стачком отправил в столицу в составе делегации донбасских горняков. Не оправдал надежд первого секретаря и народный депутат СССР, электрослесарь шахты «Кировская» Николай Ченцов: вместо призыва к работе заговорил о необходимости межрегионального стачечного комитета...

Но, по мнению других партийных работников, в стачкомы все-таки вошли в большинстве своем люди толковые.

...За неделю забастовки его несколько раз пытались сместить, а однажды — даже уволить и отдать под суд. Он удивительно соответствует своей фамилии Воронцов — черноглазый, черноволосый, смуглый. Его и старшим не выбрали. На «Кочегарке», горловской шахте, старшей в Донбассе, стачком по общему решению возглавил В. Райков, председатель профсоюзного комитета. (Кстати, многие ли из коллег Райкова удостоились подобного доверия как защитники интересов рабочего человека?) Но вскоре стало ясно: кому-кому, а Райкову на митинге в центре города придется быть не посменно, а сутками. С каждой новой сменой приходилось начинать все сначала. И новому, несколько недель назад избранному директору Г. П. Майтамалу — тоже. Потому что их слушали даже тогда, когда не слышали никого и когда, по выражению Воронцова, у стачки начинался «резкий прилив крови к голове».

Итак, молодой горномонтажник Игорь Воронцов вроде сам выдвинулся на командирскую должность среди оставшихся «бойцов». Кому-то нужно было принимать расписки на выдачу продуктов для бастующих, регулировать жизнь без малого тридцати забоев, гасить истеричный вопль о танках, которые якобы вот-вот двинутся и подавят всех к черто-

вой матери. Труднее всего, как ни парадоксально, оказалось поддерживать взаимопонимание с товарищами. То есть, не превращаясь в буфер, с одной стороны, и не впадая по воле большинства в анархию — с другой, руководить стачкой. Пожалуй, подобная неделя стоила диплома о высшем политическом образовании...

...Ночью пошел дождь, хоть и теплый, но сильный, и к утру стачком распорядился отрядить на площадь сухую чистую спецодежду, теплые телогрейки, плащ-палатки и три вентиляционных рукава для покрытия вроде навеса да отгрузить три вагона обалпов, чтоб на досках сидели, не в лужах на бетоне. «Кочегарку» покупают! — мгновенно прозвучало из микрофона. — Ребята, оставайтесь в мокром, как все!» И многие не без сожаления стали стягивать с себя новые робы — равенство так равенство. Социальная справедливость — когда всем одинаково плохо?

Были сотрясения ощутимей. Воронцов на груди хранит бумагу — от тюрьмы спасла. Заявление в городской стачечный комитет от рабочих Авдеевского коксохимического завода с просьбой отгрузить с «Кочегарки» тысячу тонн угля для поддержания технологического процесса, чтоб печи не потухли. И виза наискосок с печатью — «Разрешить!».

Воронцов деликатно умолкает. Есть что вспомнить. Как по городу понеслось, будто «Кочегарка» втихоря уголь рубит и грузит, как Воронцова бить собирались, как городской стачечный комитет поклонялся, будто никакого заявления из Авдеевки и в глаза не видел, как на шахту зампрокурора пожаловал, дабы разобраться в вопросе превышения власти и наказать... Разобрались, слава богу.

А Сергея Воробьева, члена стачкома, прямо с шахты забрала «скорая». Вообще здоровый парень. Но вместо сердца не пламенный мотор. И Воронцов с валидомом познакомился.

Да, есть что вспомнить. Директора «Кочегарки» в день рождения (сорок четыре года отсчитал!) сначала овацией в нарядной поздравили, а потом на митинге бюрократам обозвали. Вывели из состава стачкома Шмелева, заместителя директора, и Наумкина, заместителя секретаря парткома. Обоих уважают. Воронцов это называет реакцией раздражения на саму должность. К чести руководителей, имеющих, кстати, солидный подземный стаж, никто из них в амбиции не ударился. На заседаниях уже не присутствовали, но в стачкоме продолжали работать, так сказать, нелегально.

Что говорить, когда и между стачкомами не всегда складывались отношения.

Но вот отшумело, отштормило, схлынуло. И хотя в нарядных, в пивных, во дворах домов шахтеры продолжают обсуждать случившееся, начался иной этап. Постороннему глазу он невидим. Крутятся колеса подъемных машин на копрах, уходят эшелоны с углем, спускаются в забой и поднимаются на-гора люди в шахтерских робах. Но это уже другие люди, нежели были до забастовки. Они вышли из нее сплоченными, самоорганизовавшимися. Они ощутили себя силой, классом. Это ощутили и все мы. И от этого тревожно. А ну как кто-нибудь воспользуется этой силой? Ведь были же попытки во время стачки оказать влияние на бастующих, использовать выступление горняков для удовлетворения своих политических амбиций. Стачка на это не пошла. А стачком?

Стачкомы сейчас заняты перевыбором профсоюзных комитетов и советов трудовых коллективов, перереаттестацией управленческого персонала. Они четко определили для себя то, что не могло никак определиться до этого: СТК должны заниматься контролем за хозяйственной

деятельностью, профкомы — защитой интересов трудящихся. Нельзя сказать, что все здесь идет гладко. И не только потому, что действия стачкомов идут порой вразрез с существующими уставами, положениями, инструкциями. Инструкции можно в конце концов признать недействительными, ибо необходимость выборов записана в документе, подписанном руководителями правительства. По ходу этой работы возникло много противоречий.

Прежде всего не хватает опыта. Махрового бюрократа или мошенника от торговли голыми руками взять непросто. Стачкомы ищут среди рабочих тех, кто когда-то этим занимался. А пока нет опыта, приходится чаще брать, так сказать, «на арапа» — силой временной власти.

Во-вторых, наметилась конфронтация между инженерным корпусом и стачкомами. Это не классовый антагонизм, но тем не менее первые не хотят признавать над собой власть рабочих, считая их некомпетентными, а потому не имеющими права вмешиваться в святая святых — управление производством. И с той, и с другой стороны случается много амбиций, хотя и те, и другие понимают, что друг без друга им в дальнейшем не обойтись.

Непросто складываются отношения и с партийными организаторами. Несмотря на то, что среди стачкомовцев немало коммунистов, к секретарям парткома безусловного доверия нет. Забастовка показала, что в сложных условиях нужно уметь брать инициативу и ответственность на себя. В Донбассе же многие партторги шахт ждали указаний сверху, хотя с самого начала понимали, что требования шахтеров справедливы. Указания же поступали уклончивые: разъяснять. И вот вместо того, чтобы возглавить движение, комиссары (мы не говорим о партийных функционерах) оказались позади наступающей цепи. Теперь пожинаят плоды той нерешительности. При нас секретарь одного из парткомов жаловался в райком партии: не пускают на заседания стачкома. «Поеду в стачком», — засобирался секретарь райкома. «А что скажешь?». — «Скажу так: если не доверяете этому партторгу, давайте изберем другого; если доверяете — доверяйте до конца...»

И еще одна очень опасная тенденция наметилась после забастовки. Шахтеры требуют закрыть торгово-посреднические и медицинские кооперативы. На законном основании сделать это не могут. Выход один — идти на противозаконные действия. Сейчас на кооператоров натираются пожарные инспекции, персонал санстанций, им дано задание найти повод, «накопать». И накопают. Кооперативы закроют. Но это, несомненно, нанесет ущерб кооперативному движению в целом. Кооператоры рассудят так: раз сумели закрыть одни кооперативы, сумеют при желании закрыть и другие. Да и противозаконные действия, какую бы благородную цель они ни преследовали, всегда противозаконны и в конце концов должны быть наказуемы. Или вновь скатимся в болото волонтаризма и административного диктата, теперь уже рабочего?

Впрочем, члены стачкомов отдадут себе отчет, что все не так просто. Возможно ли перерождение рабочего актива? — спрашивали мы у членов и руководителей стачечных комитетов. Да, отвечали, возможно, но здесь многое зависит не от самого актива, а от рабочего контроля за этим активом. Есть ли опасность влияния на стачкомы извне? Есть. Больше всего в стачкомах опасаются влияния левых экстремистских сил и аппаратной бюрократии. Возможно ли развитие движения без участия в нем интеллигенции? Нет, но интеллигенция интеллигенции рознь.

Кстати, у шахтеров появились свои прекрасные политики в лице народных депутатов Бойко, Саунина и других.

Мы пишем сегодня о стачках не для того, чтобы ими восхититься. От нашего притягивания или непритягивания их ничего не зависит. Стачки — это уже объективная реальность. Опыт шахтеров перенимают металлурги-коксохимики. Мы были на собраниях рабочих Макеевского металлургического завода — они тоже организовались и выдвинули пакет требований. Наивно полагать, будто бы с окончанием забастовки шахтеров все станет на старые рельсы. Не станет.

На шахтах же стачки скоро перестанут существовать. Влившись в профсоюзные комитеты и в советы трудовых коллективов, они передадут свои полномочия этим органам рабочего самоуправления. Они и будут контролировать выполнение соглашения между шахтерами и правительством. Однако, самораспускаясь, стачки оставляют за собой право в любое время обратиться вновь. Если будет в этом необходимость.

А. КАЛИНИН,
О. МУСАФИРОВА

Донецкая область. 19 августа 1989 г.

«ПРОШУ МЕНЯ РАССТРЕЛЯТЬ...»

Слова эти принадлежат человеку, которому всего 28

Почта принесла в редакцию письмо:

«Уважаемая «Комсомолка»! Пишу вам, надеюсь, что вы мне поможете. Я осужденный. Был приговорен к расстрелу, но потом его заменили лишением свободы сроком на пятнадцать лет усиленного режима. В заключении нахожусь около четырех лет.

Мной совершено тяжелое преступление, и вообще много грязи было в жизни, хотя прожил немного. Но если я в дальнейшем не имею права стать человеком и жить по-человечески (а я понял тут, что не имею на это права), пусть меня расстреляют.

Я уже обращался с подобной просьбой к администрации ИТУ и в Верховный суд СССР, но никто не удовлетворяет мою просьбу. Решил через вашу редакцию выйти в высшие органы, Прокуратуру СССР, чтобы мне помогли вернуть первоначальный приговор.

Нормальным человеком стать здесь невозможно. А хуже, чем я был, становиться не хочу.

Уважаемая редакция, мне кажется, я достаточно сделал зла. Наверное, хватит. Прошу удовлетворить мою просьбу.

Больше обращаться никуда не буду. Не пойму, зачем власть обязательно хочет, чтобы я снова приносил кому-то горе?

Осужденный Михаил Цереня, Петропавловск-Камчатский.

В дальнем городе солнце, метровые снега, голубые сопки и ураганный ветер с моря. В пяти минутах езды от Авачинской бухты, в центре Петропавловска, — зона усиленного режима. Та самая, откуда отправилось в Москву это письмо.

С Владимиром Покрищук, молодым парторгом колонии, подъезжаем к высоким железным воротам. Сейчас они открыты: осужденных привезли с работы. Под прицелом солдат-автоматчиков из автобуса выпрыгивают хмурые люди с нашивками на черных одеждах. Пытаются разглядеть фамилии, но Владимир останавливает меня: твой со смены

еще не вернулся, следующим рейсом. Приходится ждать нового транспорта. Во внутреннем дворе зоны офицеры руководят построением отрядов, хрипло лают овчарки, пахнет кирзой и щами на кислой капусте.

Покрищук — бывший моряк, в зоне работает недавно. Речь его ясна и откровенна:

— Меня, по-честному, тоже не устраивает колония в том виде, в каком она существует. На соседних нарах лежат отпетый «волк» и случайный попавший сюда человек. Черт те что! Альберт Иванович Усов, например, он недавно освобожден, в бытность свою генеральным директором крупнейшей судоверфи выдал рабочим премию в 47 тысяч рублей. Выдать-то выдал, но продукция еще не была готова, шла доводка. Начальство торопило, вынудило его рапортовать раньше времени. Потом комиссия нагрянула. Растрата! И вот он у нас, пять лет усиленного режима. Есть разница между таким человеком и насильником малолетних? Альберта Ивановича мы, конечно, расконвоировали, назначили бригадиром, он у начальника лагеря как бы хозяйственным заместителем был. Умный, интеллигентный человек, любого из нас воспитать может... Но за проволоккой все равны...

— Что за человек Цереня?

— Ты же знаешь, убийца. Не понял, что заставило его писать в газету. Человек он замкнутый, мрачный. Даже осужденные его сторонятся, а мы считаем невоспитуемым. Впрочем, разбирайся с ним сам, вам письмо писано. У нас таких несколько сотен, каждому в душу не заглянешь. Да и не каждый захочет открыть ее... Слушай, не сочти циником, но мне непонятно одно место в письме: если уж так ему хочется на тот свет, кто ж ему мешает самому?.. Зачем делать шум, поднимать на ноги газету?

Несколько цитат из материалов личного дела:

«Судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда... установила: «Подсудимый Цереня М. К. и Емец С. В. в ночь с 6 на 7 мая 1985 г. совершили умышленное убийство с особой жестокостью Атанова С. П. с целью завладения его имуществом...»

«Адвокат Никитина в кассационной жалобе утверждает, что не нашло своего подтверждения совершение Цереней убийства Атанова из корыстных побуждений...»

Михаил вошел в комнату и остановился у порога. На самом деле тяжелый взгляд. Массивный подбородок. Лицо уголовника? Предлагаю сесть. Он механически опускается на стул, беспокойные руки теряют принесенные с собой новые исписанные листки бумаги.

— Давай условимся, — говорю ему. — Ты рассказываешь, о чем хочешь, я не перебиваю. Будут, если разрешишь, отдельные наводящие вопросы.

Он удивлен: к нему обратились за разрешением чего-то.

— Спасибо. Не думал, что приедете... приедешь...

— Твое письмо не очень понятно. Объясни, что и как.

Объяснение вылилось в долгую беседу. Она продолжалась всю неделю, что я был на Камчатке. По несколько часов в день. Угрюмость и неразговорчивость моего собеседника постепенно сменялись живыми интонациями — как будто он вернулся из тяжелого путешествия: теперь можно вздохнуть, осмотреться.

— Родители — чужие мне люди. У матери и отца были до моего рождения другие семьи. Когда я родился, отца посадили: избил до полусмерти моего деда, своего отца. Через год вышел. Он был пьющий че-

ловец, мучил мать, потом бросил нас и уехал из Нижнего Тагила, где мы жили, к родственникам на Кавказ. Такое детство. Не подумай, что бью на жалость, вышибаю слезу. Без надобности. Я ведь ничего не прошу, кроме — сам знаешь... Вспоминаю сейчас детство и чувствую тот страх. Когда было лет десять, соседи мне рассказали: отец с прежней женой допились до белой горячки и в порыве помешательства выбросили из окна свою дочку, маленькую девочку. С тех пор она стала инвалидом, лишилась рассудка. Я не поверил, начал разузнавать. Все правда! Стал бояться отца. А если он и меня вот так однажды? Боялся и потихоньку начинал ненавидеть...

— Отца?

— Мать так воспитывала. Говорила, что отец есть наш главный враг. Да что там, бывали минуты, когда я сам мечтал... ну... убить его! Помню, как мы с матерью, лицо ее было разбито в кровь, прятались от него у соседки. Ночевали зимой в ледяном сарае. Неохота про это вспоминать, но как-то, в сарае, впервые почувствовал, что могу поднять руку на человека. На отца. Лет четырнадцать мне было тогда, не больше.

— Что же потом?

— Потом всяко было. Через год прислал с Кавказа письмо: завязал пить, прости, Люба, и приезжай. Ну мать обрадовалась, схватила меня в охапку — и к нему. Отец, когда не пил, здорово столарничал. К нашему приезду он выстроил деревянный дом, настоящий сказочный теремок с бойницами, кружевными наличниками. Все соседи ходили смотреть. Но счастья в теремке не получилось. Снова пошли пьянки, полились слезы. Когда я приходил с улицы с разбитым носом, просил заступиться, хмельной отец учил меня: бери шило — выкальвай им глаза...

— А мать как же?

— Все ее мысли были заняты скандалами с отцом. Не до меня. Потом отец ушел к другой женщине, но захотел, назло матери, взять меня с собой. Подал в суд заявление, что мать — гулящая женщина. Мать лишила материнства. Она написала жалобу в «Человек и закон», приехала комиссия разбираться. Права материнства вернули, и мы с ней потащились назад, в Нижний Тагил... А там что? Должность уборщицы там в мужском общежитии. Прежнее наше жилье уже отдали другим людям. Сил бороться не было, и мать согласилась на комнатку и девяносто рублей. Помрачнела, перестала вообще замечать меня. Я не горевал, привык. Распробовал вкус водки: в общежитии это просто. И спился бы, если бы не Светка, девушка, с которой познакомился...

Новый день, точнее, вечер. Снова сижу лицом к лицу с Цереней. За окном пурга.

— Это было до армии, подрабатывал тогда в таксопарке. Из-за Светки бросил пить и очень этим гордился. Катались с ней на лодке по реке Тагил, ходили в кино, познакомился с ее друзьями. Те ребята книгами менялись, пластинки слушали. Однажды мать, увидев Свету дома, выставила ее: «Мало мне твоих пьянок, еще шалаву привел!» В армию уходил с тяжелым сердцем. Матери сказал, чтобы не ждала. «Как знаешь».

— И не вернулся?

— Вернулся. Но для того, чтобы Светку увидеть, увезти ее из Тагила. В часть она писала редко. А я скучал. И вот стою, как дурак, под ее окнами, зайги не решаюсь, день стою, другой. И вдруг вижу: выходит, лоха какого-то под руку держит, катят перед собой колясочку, там что-то верещит, они радостно суетятся. Дела... «Что ж ты мне раньше не сказала?» — подумал я и гребу домой. Посидел за столом, подарки для

Светки матери презентовал — и на вокзал: рванул во Владивосток, где в армии служил.

— Михаил, так мы с тобой до главного никогда не доберемся...

— До убийства? Не торопи... У меня всю жизнь было ощущение, что иду над пропастью. И так, не поверишь, иногда хотелось в пропасть эту сорваться. Убийство... Я даже приговор воспринял как должное, вроде камень с души упал! Но это потом, а во Владивостоке устроился слесарем на Дальзавод. Поселили меня в смешанную общагу, спирт в магазине — девять сорок бутылка. С пьющими ребятами жить хорошо: добрые они, понимающие. Однажды набил морду двум хлыщам, они к соседу на улице цеплялись. Свезли их в больницу. Суд общественный был, но цех ремонта трубопроводов за меня заступился. На два года отпраздники в Находку, на принудработы. А с Надеждой я познакомился незадолго до драки. Она морячила на плазаводе «Павел Постышев». Я предложил ей не ходить больше в море, расписаться. Не согласилась, ушла. Повздорили. А потом на завод неожиданно пришло е письмо, я уже под следствием ходил. Не отказалась от меня, осужденного, примчалась в Находку. Расписались-таки. Ох, не нужно ее было звать сюда! Жизнь в Находке не сахар, комнату сняли с трудом на окраине, у сопки. Надя болела, ни родных, ни знакомых, а сроку у меня еще больше года. Но жили, как могли. Ребенка решили завести. Хотя я еще выпивал, но твердо решил кончать с этим делом. Но, видно, как поют в одной песне, родился я под печальной звездой. В тот день, когда она сказала, что беременна, пришла телеграмма из ее родного Белгорода: умер брат. Она поехала хоронить. Потом пришла другая телеграмма, точно — 6 марта 1985 года, что у нас уже имеется сын. Радость! Дали отпуск. 8 марта, в праздник, вышел последний раз на работу, а в конце дня выпили с мужиками, и я поехал парковать погрузчик, на погрузчике работал. Попал в аварию. На следующий день выставили счет — пятьсот рублей. Куда деваться? Пришлось выплачивать. Ехать не на что, а отпуск уже начался. Иду в администрацию, прошу перенести отпуск, дать заработать — не хотят. Написал Наде письмо, рассказал про аварию, попросил денег. Скоро пришел ответ: денег не вышло, оставайся, алкаш, там навсегда, ты мне больше не нужен. Так вот и не вышло бросить пить. И ребенка своего не пришлось увидеть.

...Поздно вечером в дверь позвонили. Случайная знакомая Церени, по фамилии Шелуха, приложила палец к губам, решила не открывать. Тогда стали колотить в окно. Оказалось, это пришел ее приятель Сергей Атанов. У него была водка. Впустила. Выпили троим за знакомство, и Цереня собрался уходить, Атанов — следом. Молча пришли к другу Церени Сергею Емецу. Опять чокнулись. И тут Атанов стал выяснять отношения: почему Цереня отбивает у него подружку, эту самую Шелуху?

— Я попросил не выводить меня из себя. Но он угрожал, и пришлось его выгнать. Не успели заснуть, опять стук в дверь. Снова шуганули его. Через час все повторилось. Надоела мне эта волянка. Впустил его. И тут, дома, дал ему по морде. Он вывалился из окна, сломал новенькую раму и побежал. Емец очень расстроился — сам раму делал. Догнали, стали бить. Чувствую, какие-то брызги летят. «Ты чем его?» — спрашиваю Емеца. «Молотком». Появился сосед (не хочу называть его имени и на суде не назвал — выгораживал, а ведь он нас и заложил... Ну да ладно). Увидел все это сосед и говорит: добить надо, ребятки, а то тюрьма. Мы пьяные были, решили — правильно советует. Добили, сволочи...

В камере смертников он рассчитался со своей прошлой жизнью. Михаил часто теперь и тепло вспоминает эту камеру. Отношение охранников было человеческим. Ведь узник скоро должен погибнуть, и нужно, это принято, скрасить последние его дни. Разрешали читать книги, курить, прилично кормили, хотя он почти ничего не ел, не досаждали — зачем уж теперь? — нотациями и душеспасительными беседами.

Он не метался по камере, но сосредоточенно думал о прошлом, оценивал его, прощался с жизнью — с горечью, но без тоски. Не задалась жизнь! Он примирился с этим. О предстоящем же думал как о выходе, как о свободе.

В камере обнаружилось, что Цереня крепкий орешек. Так, во всяком случае, посчитали конвоиры, а они всякое тут видели. Он не осунулся. Не бормотал бессвязные речи, не просил о пощаде, не сходил с ума. На удивление наступило время спокойствия. Впервые он почувствовал себя человеком рассудительным и взрослым. Взрослым настолько, что напрочь отказался от пустых фантазий на тему: что было бы, если бы все начать сначала...

И вдруг — замена приговора. Его возвратили на землю, в воздух, в жизнь.

Она оказалась хуже, чем прежняя, постылая — на воле.

В первом же изоляторе, куда отправили бывшего приговоренного к высшей мере, офицер устался на Михаила, который спокойно выдержал его взгляд, и заявил неизвестно почему: «Мы тебя, голубчик, сломаем».

Ну как ему было объяснить, офицеру, что ломать-то уже и нечего? Цереня переживал возвращение к себе, настоящему — не менее мучительный процесс, чем раскаяние. Тут не ломать — подсобить бы. Но кто будет разбираться, что там у него внутри?

В тюрьме, где он первое время после замены приговора сидел, администрация не делала секрета из своего служебного принципа, он даже был запечатлен на плакатах: «Кто не с нами — тот против нас!» Такой воспитательный плакатик. Дошедший, рискованно предположить, из времен ГУЛАГа. Строчки Маяковского, строчки Горького в местах лишения свободы — своеобразный шик тюремно-воспитательной эстетики. И с кем — «с нами»? С воспитателями? А что значит — «против нас»? Не плакат, а сплошной ребус.

Вот еще одно правило, с которым Михаил ознакомился в своей новой, после камеры, жизни: кто вступит в СПП (секция профилактики правонарушений — нечто вроде неформальной организации за колючей проволокой), тот будет получать по шесть рублей в месяц вместо двух обычных — на покупки в зоне.

Этот суррогат общественной жизни, замешанный на подкупе, заставил Цереню криво усмехнуться. Вспомнилась служба в армии. Был эпизод: в части ждали приезда крупного начальника. И лейтенант поручил Михаилу в обмен на лишнюю увольнительную взять на складе ведро с зеленой краской и подновить жухлую траву у казармы...

Вместо высшей меры — пятнадцать лет. И он начал день за днем разминывать эти полтора десятка. Он возвращался с того света. Возвращение было обрательно совсем не улыбками и розовыми клумбами. Скорее унижениями и новыми мучениями.

Мне могут возразить: в местах лишения свободы и не должно быть легко. Тем более убийце.

Не буду спорить с этим.

Просто перескажу кое-что из багажа командировки.

Еще в петропавловской тюрьме его посадили за «факт неповиновения» (самостоятельность в поступках либо суждениях здесь карается твердой рукой) в карцер. Зима, мороз, в разбитые окна метет снег. Михаила определили в карцер в одном белье. На семь суток. Я проверял этот факт, дырявые окна в таких помещениях — не редкость. Что есть такой карцер — перевоспитание, наказание? Даже по отношению к преступнику?

Ровно семь суток Михаил занимался гимнастикой, бегал на месте, чтобы не замерзнуть насмерть.

Я ему передал тот вопрос парторга Покрищука: почему он обратился в редакцию со своей просьбой, а не рассчитался с жизнью сам?

— Не могу. Пусть вертухаи и доводят дело до конца. Хочу, чтобы меня убили, а не убить себя. В предыдущей зоне один зек вот повесился? И что? Никто не обратил особого внимания. Вынули из петли, унесли, через день забыли. Не знаю, понял ли ты разницу...

Был у него уже в колонии конфликт с бригадиром (назовем его Петровым), таким же осужденным. Петров перед начальством выслуживался, дело обычное. Старший лейтенант Покрищук Петрова аттестовал мне так: «Подонок, но работает хорошо». Подонок же придирался к Церене по мелочам, невзлюбил его. Чутье точно сработало: они разные! То мало Цереня сделал за смену, то шлак не сбил со швов сварных соединений, то чай пил на минуточку больше положенного. Петров в зоне в цене был, его и выпустили намного раньше срока за старание. А как старался? Выбивал из бригады по две, по четыре нормы! Цереня воспротивился этому: как можно выжимать по четыре нормы в цехе железобетонных изделий, где все краны аварийные, нет вентиляции, бетонный пар висит, как в бане, — соседа не видно? В арматурном же цехе ледяной сквозняк, тут у всех зекhov легкие простужены. Но Петрову плевать, давай норму, иначе затравит! Михаил подошел к нему однажды после очередного аврала и пригрозил пересчитать ребра, если не успокоится, не перестанет мурыжить людей. Петров связываться боялся, но тут же пожаловался куда надо. Цереню посадили в изолятор. Объявил голодовку. Офицеры пожали плечами — голодай. Через пять суток голодовки выпустили из изолятора.

Исписанные листки, с которыми Цереня пришел на первое свидание со мной, оказались новым письмом, которое он приготовил для нашей газеты, — в дополнение к присланному, и оно заслуживает небольшого цитирования:

«Я не хочу и не могу мириться с тем, что меня «ломают». Кое-что человеческое во мне осталось. Зачем же это топтать? Зачем из меня делать окончательного гада?»

Не хочу выйти отсюда форменным врагом людей и моей Родины. Меня присудили к физической смерти, но никто не присуждал к моральной. На замену я не согласен».

Забегая вперед, скажу о том, что ответил мне по существу подобных претензий к нормам жизни в колонии ее начальник подполковник Валентин Иванович Аксенов:

— Мы на самом деле сегодня, десятилетия спустя после безобразий тридцатых — сороковых годов, обставлены старыми структурами, которые сводят на нет попытку как-то перестроить по-новому исправительные учреждения. Верно, сидят у нас разные преступники, но условия мы должны почему-то поддерживать для них одинаковые. Отклонение от этого считается нарушением служебного долга. Далее, произ-

водственные условия, в которых работают наши подопочные, действительно плохи. Главкамчатстрой, передавший нам свои цехи, не собирается их ремонтировать, а у нас таких возможностей нет. Сохраняется масса несуразностей, давно уже ликвидированных во всех цивилизованных странах: например, мы обязаны по инструкции выплачивать осужденным только незначительную часть заработной платы. Короче говоря, то, чем мы здесь занимаемся, не перевоспитание. Что-то другое. Сугубое карание.

— Вы с этим не согласны?

— Карать, конечно, надо. Но не издеваться. А выбивание «плана» из людей, лишенных свободы, — чистое издевательство. План нам спускается сверху. И мы обязаны пока его строго выполнять. Никакого воспитания в местах заключения нет, будем честны, это сказочка. Примерно через пять лет осужденный у нас теряет веру, что он станет полноправным гражданином, вернется к нормальной жизни...

В местах заключения, тут подполковник Аксенов прав, сохраняется немало устаревших инструкций из арсенала прошлых лет. Но такие инструкции надо не констатировать. С ними надо бороться. Парторг Покришук искренне уверен: атмосферу в зоне пора радикально менять, очеловечивать — демократизация на дворе, пусть даже последний и ого-рожен. Кто же мешает? Что толку в такой уверенности, если за ней не следует ни одного конкретного нововведения?

...Недавно к Михаилу Церене приехала мать, с которой они не виделись больше пяти лет. Не узнала сына. Двадцативосьмилетний парень стал седым.

Впервые за всю жизнь им удалось поговорить, как родным людям, — по душам («Вот как мы с тобой», — пояснил мне Михаил). Простить друг друга.

Церена сказал матери примерно то, что я услышал позднее от начальника колонии: человеком он отсюда не рассчитывает выбраться. Нет. Мать плакала и кивала. И он попросил ее съездить в Москву, хлопотать, чтобы ему вернули прежний приговор.

Мать поняла, взяла заявление и поехала в столицу хлопотать о расстреле сына...

Д. ШЕВЧЕНКО

Петропавловск-Камчатский — Москва.

МИТЬКИ

Еще пяток годков назад и слова такого — «митьки» — никто не слышал. Были просто Митя Шагин, Володя Шинкарев, Саша Флоренский, еще человек десять — молодые художники (это сейчас им под тридцать), рисовавшие «добрые» картины. Собирались у кого-нибудь в мастерской или квартире (которую от мастерской, впрочем, не отличишь), что-то обсуждали за бутылкой — да-да, признаем — портвейна о доброте душевной... Так и жили — весело и спокойно.

Думал ли Володя Шинкарев тогда, году в 1985-м, что его литературные шутки превратят их... в группу «Митьки», а по всей стране молодые парни натянут тельняшки и начнут «митьковать»? Сознал ли, когда сочинял свою многоглавую, с продолжением, книгу о митьках, что она станет «руководством к действию»?

Да нет, просто хотелось поерничать. Весело и интересно было, собравшись вместе, читать вслух и в ролях.

Вот так, без всякой претензии на официальность, Шинкарев объявил о «новом массовом молодежном движении, участников которого следует называть МИТЬКАМИ — по имени основателя и классического образца Дмитрия Шагина».

Имея под рукой это сочинение, процитируем выдержки из словаря, которым должны пользоваться митьки:

«Дык» — самое распространенное выражение, может заменить все остальные. «Дык» с вопросительной интонацией означает упрек, с восклицательной — горделивую самоуверенность, с многоточием — извинение, признание ошибки.

Ну ёлы-палы — второе по употребимости выражение, может означать обиду, сожаление, восторг, извинение, страх, радость, гнев и т. д.

Оттягиваться — заниматься чем-либо приятным, чтобы позабыть о тяготах жизни.

Улет, убой, обсад, крутяк — похвала, одобрение.

Дурилка картонная — ласковое обращение к собеседнику.

Жировать — плохо себя вести.

Опаньки! — описание поразившего митька действия».

«Лексикон, или сленг, митьков, как видите, изумительно красноречив и понятен каждому без предварительной подготовки», — считает Шинкарев. Правильно, наверное, считает...

Мне показалось, существуют два разных митька: описанный в сочинениях Шинкарева и реальный, из жизни. Настоящий может сказать и «дык», и «ёлы-палы», будет называть тебя братушкой, но в то же время оставаться интересным собеседником — умным и интеллигентным. Лексикон любого из митьков, с кем удалось встретиться, никак не ограничивался словом «дык» с разнообразными интонациями.

Итак, митек сочиненный и митек реальный. Они соперничают друг с другом в том, кто лучше, кто добрее. Происходит это так: Шинкарев придумывает ситуацию, показывает идеальные действия митька в данных условиях, а потом Митя Шагин или кто-то другой начинает делать то, что предписано «инструкцией». Однажды Володя написал, что высшее одобрение выражается так: «Рука прикладывается к животу, паху или бедру. Митек, сжав кулак, мерно покачивает им вверх-вниз, а на лице сияет неопикуемый восторг», — значит, так и должно одобрять. Ну и что — попробовали раз-другой, посмеялись над собой.

Еще один ритуал, который лучше прижился среди митьков, хотя на себе я его не испытал: «При встрече даже с малознакомыми людьми обязательен трехкратный поцелуй, а при прощании митек сжимает челюсть в объятиях, склоняется ему на плечо и долго стоит так с закрытыми глазами, как бы впад в медитацию».

Митек ужасно не любит работать, то есть отсиживать «с девяти до шести». Живописно, естественно, не входит в это понятие, это — святое. Наше право на труд на самом деле, может быть, право и не на труд вовсе, а всего лишь на трудоустройство? Представьте, что будет, если работа станет не трудом, а удовольствием, не выполнением «функциональных обязанностей», а праздником! Приходит человек на работу и все рабочее время поет от счастья, что занимается любимым делом. Или: не приходит, но занимается. Вот сказка-то...

Это сейчас митек — вольный художник, может не «служить», на его выставках толпится народ, картины охотно покупают, они пользуются

спросом и успехом. А было время, когда Мите Шагину, чтобы на что-то жить и кормить семью, приходилось кочегарить в котельной.

Быть может, через годы творчество митьков будут изучать молодые студенты в художественных училищах, их имена войдут в энциклопедию. Может, конечно, и не войдут. Как решить, кто лучше: Шагин-кочегар или Шагин-живописец? Я не знаток, пусть в их профессионализме разбираются специалисты. Во всяком случае не те, у кого «тунеядство» митьков вызывает подобную реакцию: такому здоровому детине, как Митя Шагин, лопату бы дать да трактор на подхвате поставить, а он целыми днями на диване валяется, картинки мазюкает и вино глушит.

Сколько людей — столько мнений. В 60-х годах таких «бездельников» судили, в 20-х — расстреливали, в 30-х их и быть не могло. Теперь времена иные, пора вспомнить, что по этому поводу говорил Козьма Прутков: «Всякий необходимо причиняет пользу, употребленный на своем месте. Напротив того: упражнения лучшего танцмейстера в химии неуместны; советы опытного астронома в танцах глупы». Так что пусть уж лучше художники рисуют!

Митек не приспособлен к жизни. Боится столкнуться с мелкими житейскими трудностями. Запросто может спать на матраце. Не потому, что нет денег на кровать (теперь-то митькам есть на что жить), просто не хочется тащиться в мебельный магазин. Может иметь один стакан и одну вилку на все случаи жизни: опять же — лень идти в хозяйственный, да и не всякий митек знает, где он находится. Конечно, как любой человек, он не прочь жить с комфортом, но может без него и обойтись.

Есть атрибут обязательный: митьковская борода. Шагин объясняет его так: если растет, пусть растет, «творящий брадобритие ненавидим от Бога». Попросту говоря, митек должен быть с бородой. Не носит ее только тот, у кого не растет. Однако ничто не мешает митьку сбрить ее, если надоела — отрастет новая.

Любимый художник митьков — Сезанн. Бесспорно, митьковский, но не любимый ими — Перов. Самая митьковская картина — «Падение Икара» Питера Брейгеля Старшего. Любимый кинофильм — «Место встречи изменить нельзя». Настоящая книга — «Антон-Горемыка» Григоровича.

Митька может привести в восторг какой-нибудь детектив, если там «побеждают добрые». Но его не интересуют так называемые перестроечные процессы. Ленинград бурлит, образуются всевозможные группы и движения, народных фронтов только два. До сих пор не смолкают споры вокруг выборов. А митькам до всего этого...

— Митя, неужели ты ни разу не был на митинге?

— Что ты, браток, у нас свои митинки-митевки — когда собираются все добрые братки, можно поговорить по-хорошему и весело выпить.

Что это, нежелание подчиниться требованиям времени или лень? Я не знаю. Лично мне митьки симпатичны и без политики. Только удивляюсь, как они смогли сохранить свое мировоззрение и свои жизненные принципы и не растерять их в атмосфере страха и запрета, в условиях ленинградских коммуналок, где пресекалась всякая попытка жить «не как все»?

Непонимание друг друга, отчужденность от чужого горя, озлобленность, непримиримость к другому, отличному от принятого, мнению, не говоря уже о другом образе жизни, почти физически жили в нас. Даже сейчас, когда людей «прорвало», они почувствовали свободу, захотели

быть собой — потребность искать виновного «во всех грехах» сохранилась. Осталась и злорада.

А митьки, они добрые. Но в то же время чудные и странные.

* * *

...Странное такое слово — «странно».

Странное, странник, страна, страница... Слова разные, а корень один. У каждого из нас свои корни — это место, где остались воспоминания, куда хочется приехать, чтобы помолодеть. Но главный корень один — Россия, Родина. Наши корни тянутся в глубь веков, а из старины к нам приходят древние традиции, обычаи, русская культура. «Древнерусское искусство», — писал Д. С. Лихачев, — преодолевает окружающую человека косность, расстояние между людьми, мирит его с окружающим миром. Оно — доброе».

— Нужно быть хорошим... — говорит Митя Шагин.

В русском языке хороший — значит добрый. Хорошая книга, добрая картина. Не представляю себе митька злым — и любого конкретного, и вообще. Доброта — она либо есть, либо ее нет.

В митьках подкупают открытость, добродушие, веселость. Они играют роль простака и балагура, шалопая и шута. И если плохой актер из театра может «переиграть», то митек — никогда. Потому что играет самого себя. И смеется над собой. А разве может так смеяться человек злой? Вы когда-нибудь видели улыбку Пиночета?

Митьки придумали свой мир — мир нелепостей. Мир, нарушающий правила и традиции, протестующий против условностей и привычек. Они только прикидываются шалопаями и балагурами, валяют дурака, чтобы быть свободными в смехе. И все смешалось: игра и жизнь...

Вспомните — выражения «ах ты мой глупенький», «ах ты мой дурачок» в русском языке никогда не были ругательными. Не отсюда ли митьковское: братушка, браток, сестренка?

Смех над собой беззащитен. Как и доброта. Почему же тогда натягивают мальчишки тельняшки? Понять митька трудно, подделаться под него невозможно, нужно быть им.

Короля без свиты не бывает. Все познается в сравнении. Человек открывается в обстоятельствах. Социальная ценность и значимость явления видны на фоне общественной жизни. А фон этот долгие годы был у нас либо белый, либо черный. Без середины. Людей привыкли четко делить на «актив» и «пассив», организации — на идущие правильным курсом и аполитичные. И не дай бог кому-то «ошибиться» и пойти «в сторону». Политизация жизни повлияла и на молодежь, сегодня даже школьники жаждут прикоснуться к политике. Спорят о государственном устройстве, о власти, о демократии, выбирают свои парламенты.

А митьки как бы в стороне от этого всего. Они живут понятиями вечными: добро, гуманность, справедливость. В нашей философии эти категории давно ушли на задний план.

Митьки не гонятся за благами, почестями, славой, живут без суеты. У них другой временной отсчет. Делают то, что могут, что считают нужным для себя. Кто-то из великих сказал: «Делай, как должно, и пусть будет, что будет...»

Вот почему я и пишу о такой лени (никак не о безделье)! Потому что она позволяет митькам сохранить себя, не разменивать по мелочам вечное: доброту, гуманизм, порядочность. А за это стыдно быть не может...

Что такое митьки? Социальное явление? Новое молодежное движение? Скорее, это образ жизни. Плох он или хорош — каждый решает сам для себя. Знаю одно: встречаясь с митьками, ощущал, что попал на затерянный островок искренности и отзывчивости среди огромного моря суеты, равнодушия, мещанства и злости...

С. ДРОЗДОВ

Ленинград

ЧЕЛОВЕК НЕ ИЗ ЖЕЛЕЗА

Штрихи к политическому портрету Леха Валенсы

Главная новость сегодняшней Польши — дискуссии за «круглым столом», которые вот уже несколько дней продолжаются в здании Совета Министров на Краковском предместье. Событие действительно не рядовое. Впервые с августа 1981 года власти пошли на прямой разговор с оппозицией. За «круглым столом» собрались представители всех политических партий страны, различных общественных организаций и политических групп. Однако именно участие бывших деятелей «Солидарности» во главе с ее предводителем Лехом Валенсой стало принципиально новым элементом во внутренней жизни страны.

Скажем прямо: такой поворот событий даже для нас, журналистов, во многом оказался неожиданным. Немало вопросов он вызывает, естественно, и у наших читателей. Напомним: «Независимый, самоуправляемый профессиональный союз «Солидарность» — таково его полное название — возник летом 1980 года. А спустя год он был распущен по решению польских властей. С тех пор о нем в нашей печати писалось только в критических тонах. Доставалось и Леху Валенсе. В последние годы его имя на наших газетных страницах почти не встречалось, да и польская пресса о Валенсе писала достаточно редко, лишь как о «частном лице». А теперь власти начали с ним диалог. Что же происходит в Польше? Возврат к «Солидарности»? Движение вперед? А если вперёд, то куда? И кто, наконец, сам Валенса?

Сразу же нужно развеять одно заблуждение. Стоит заговорить о Валенсе, как многие из нас вспоминают выражение «человек из железа». Так назывался фильм Анджея Вайды, в конце прошлого года впервые показанный на киноэкранах Москвы. Повествует фильм о человеке, который осенью 1980 года руководил забастовкой гданьских судостроителей. Валенса действительно возглавлял в ту пору забастовочный комитет. Однако прототипом «человека из железа» он не был, хотя и принимал непосредственное участие в съемках фильма.

Подкачала его биография — родом, как говорится, не вышел. По сценарию, герой его фильма коренной горожанин. Валенса же вырос в глухой деревушке Попово, затерявшейся где-то на полдороге между Варшавой и Гданьском. В фильме герой попадает на судовой верфь после окончания вуза. Валенса же в институте никогда не учился.

Спустя много лет он расскажет об этом в своей автобиографической книге «Дорога надежды». А в ту пору до книги было еще далеко. Впервые на страницах газет его имя попало во время забастовки гданьских судостроителей в декабре 1970 года.

Несподручным поводом для событий стало повышение цен на мясо, объявленное правительством как раз накануне рождества. Началась забастовка, выплеснувшаяся за ворота судовой верфи. Милиция открыла огонь. 44 убитых, более тысячи раненых.

В те дни 27-летний электрик Валенса впервые стал председателем забастовочного комитета судовой верфи. Позже вместе с другими делегатами он участвовал в переговорах с властями и дал вместе с ними слово тогдашнему польскому лидеру Эдварду Гереку, просившему у рабочих поддержки своим начинаниям: «Поможем!».

Преодолеть экономические трудности, с которыми не справился его предшественник Гомулка, Герек надеялся с помощью иностранных кредитов. Был выдвинут лозунг создания «новой Польши», в которой каждый поляк получит малолитражный автомобиль, а каждая семья — отдельную квартиру. В течение нескольких лет Польшу захлестывала потребительская эйфория. Западные товары, лицензии, оборудование шли широким потоком.

Но стало наступать отрезвление. Вдруг оказалось, что три четверти кредитов израсходованы, а желаемого перелома в экономике не наступило.

Над страной собиралась гроза. Пожалуй, острее всего ее приближение чувствовалось на Побережье. К тому здесь имелись свои причины. Повсюду в мире судостроение переживало тяжкий кризис. Заказов становилось все меньше, а цены на нефть возрастали. Судостроителям в Гданьске не хватало работы, заработки их сокращались. Впрочем, Валенса это на себе не ощутил: он на верфи уже не работал.

Спустя четыре года Валенса появился здесь снова. Появился, по собственному признанию, «как вор», перемахнув тайком через забор.

Над судовой верфью с утра тревожно загудела сирена, и, словно молния, воздух прошло короткое сухое слово «страйк» — «забастовка». Валенсу, как пострадавшего от произвола властей, тут же выдвинули в забастовочный комитет. Он активно включился в перечисление перечня требований: вернуть незаконно уволенных, в том числе его самого; повысить заработную плату рабочим в среднем на 2000 злотых; поставить памятник жертвам 1970 года... Администрация вынуждена была согласиться на эти условия. Но Валенса призвал продолжать забастовку — в знак поддержки рабочих других предприятий, выдвинувших аналогичные требования. Директор судовой верфи возмутился: «Мы так не договаривались — ведь это забастовка солидарности». Тогда и было произнесено это слово, ставшее скоро названием нового профсоюза.

Действительно ли «Солидарность» возникла сама по себе или она, как писали в газетах, — явно не польского происхождения? Вопрос принципиальной важности. Известно, что в 1975 году в Женеве состоялось совещание эмигрантских кругов, на котором было санкционировано создание в Польше так называемого «Комитета защиты рабочих» (КОР), позже переименованного в «Комитет общественной самообороны» (КОС). Программа комитета недвусмысленно давала понять, что КОР стремится к созданию в стране кризиса, как «необходимого условия для развития борьбы против социалистического режима».

«Валенса был окопным лейтенантом, но, разумеется, не штабом забастовочного фронта, — писал в 1980 году западногерманский журнал «Шпигель». — Там был свой «мозговой центр» из представителей КОР, который в любой момент и при любых обстоятельствах и был советником того или другого стачечного комитета». Примечательно, что уже спустя пару дней после признания «Солидарности» правительством Ва-

ленсе было предложено уступить свою должность кому-либо из лидеров КОР — Куроню, Михнику или Модзелевскому. Как вспоминал язвительно Валенса, он, вероятно, показался кому-то «слишком слабым на голову, недостаточно революционным и излишне уступчивым по отношению к власти». В схему «железного человека» он никак не вписывался.

Однако, думаю, не уместается он и в рамки послушного «лейтенанта» при Куроне, «политического дилетанта, не лишённого ловкости». Не уместается потому, что не даёт нам ответа на главный вопрос: почему за Валенсой пошли миллионы рабочих? В 1981 году в рядах «Солидарности» насчитывалось уже около восьми (по другим источникам — около десяти) миллионов человек, миллион из них — члены партии...

Однако, на мой взгляд, самые изощренные происки коровцев вкупе со всеми спецслужбами западных стран не придали бы «Солидарности» такого размаха, не будь в Польше мощной социальной базы для протеста. Выразителем этого протеста, а впоследствии его символом и стал Лех Валенса. Любому деятелю из КОС—КОР такое было не под силу. «Я был убежден, — вспоминал позже Валенса, — что люди не пойдут даже за самым раскрепощённым теоретиком, так как он не работал вместе с ними, они его не знали, боялись «манипуляций» с его стороны...» Требовался человек, который стал бы в глазах общества выразителем этого протеста, его символом. В определенном смысле не Валенса создал «Солидарность», а «Солидарность» создала Валенсу. Не будь его, появился бы кто-нибудь другой.

Рабочая спецовка Валенсы обеспечила ему солидарность коллег и позволила стать во главе «Солидарности». Но удержаться в лидерах многомиллионного движения ему помогли, безусловно, незаурядное психологическое чутьё и ораторские способности.

Симпатию многих поляков вызывает и то обстоятельство, что Валенса — человек верующий, хороший семьянин, отец восьмерых детей. Порою даже кажется, что он нарочито подчеркивает свою приверженность к костелу и нормам традиционной христианской морали. На лацкане его пиджака постоянно красуется значок с изображением девы Марии...

Судить о политических вкусах Валенсы намного труднее. Сам он всячески избегает конкретных высказываний на сей счет. «Нет хлеба социалистического и капиталистического, — заявил он в одном из своих интервью. — Тот хлеб хорош, которого всем хватает».

Приходится слышать, что «Солидарность» теперь совершенно другая, да и лидер ее, дескать, за последние годы «прозрел». Да, теперь он выступает намного сдержаннее, реалистичнее, мудрее. Не думаю, однако, чтобы взгляды Валенсы так уж значительно изменились. Во всяком случае сторонником социализма он явно не стал, хотя и признал недавно, что при социализме «тоже есть пара хороших вещей». Что же тогда изменилось в стране? Почему за «круглый стол» властями приглашены были не только Валенса, но и те же эксперты из его окружения, которых в симпатиях к социализму не заподозришь никак, — Куронь, Михник и другие?

Изменился сам мир. Под воздействием советской внешней политики, политики нового мышления, складывается другая форма взаимоотношений между Востоком и Западом. «Мы помним, — отмечал недавно представитель правительства ПНР по печати Е. Урбан, — как Запад толкал внутривосточную оппозицию к политике конфронтации. Теперь это значительным образом изменилось. Прогресс в реализации политики

перестройки и гласности в СССР воздействует на ПОРП, на политические круги в нашей стране, а также на самую оппозицию. Исчезает, уменьшается антисоветизм этой оппозиции».

Необходимость такого поворота диктовалась и внутренним положением в стране. В течение двух последних лет, по словам того же Е. Урбана, были допущены ошибки в экономической политике. Продолжал снижаться жизненный уровень людей, стремительно возрастала инфляция. В результате ухудшилось общественное настроение как в отношении бывшего правительства, так и к властям в целом. Все это привело к возрождению мифа «Солидарности», с которой часть поляков связывает надежды на перемены к лучшему. Возникло более 300 нелегальных организаций на предприятиях, в том числе и крупных. Хотя нужно заметить, что «Солидарность» уже не выступает такой монолитной и сплоченной силой, как в 1980 году. Заметно стало ее разделение на два крыла. Одно из них, присвоившее себе название «борющейся «Солидарности», категорически выступает против любого компромисса с властями и считает, что социализм в Польше нужно заменить другим политическим строем. Другая часть оппозиции, признавая существующий конституционный порядок, требует проведения в стране глубоких реформ.

Необходимость таких реформ осознается сегодня всем польским обществом, в том числе и властями. Именно в таком направлении действует новое правительство страны во главе с Мечиславом Раковским. Недавно им принят ряд важных законов, призванных дать полную свободу для государственного, кооперативного и смешанного секторов, укрепить позиции собственной национальной валюты, привлечь иностранный капитал. Перемены в экономике влекут за собой и перемены в политике. За минувшие годы стало ясно, сколь губительной для социализма может быть монополия, чего бы она ни касалась. Все больше утверждается мысль, что оппозиция в социалистическом обществе — вовсе не такое уж чуждое ему явление, которое необходимо всеми силами искоренять. Более того, признающая существующий строй, может быть даже полезна, поскольку способствует рождению новых идей, предохраняет общество от застоя. Отсюда открывается путь к широко понимаемому плюрализму.

Достаточно ли у «Солидарности» и ее предводителей теперь воли и мудрости, чтобы не повторять уроков прошлого, разумно распорядиться возможностью легализации, употребить ее во благо Польше? Хочется на это надеяться. Во всяком случае Валенса в последнее время постоянно подчеркивает, что он — сторонник не революции, а эволюции, что путь забастовок, анархии, демагогии гибелен для Польши. Необходимо национальное согласие.

К сожалению, повод для беспокойства есть и сегодня. Дискуссии за «круглым столом» только начались. В трех его рабочих группах идет разговор о том, как вывести страну из кризиса, усовершенствовать политическую систему, двинуть вперед экономику. А на крупнейшем в стране открытом угольном разрезе в Белхатове проводится опять забастовка, и один из участников «круглого стола», А. Петшак, мчится туда, чтобы поддержать забастовщиков от имени Леха Валенсы. В то же время представители экстремистского крыла оппозиции, отрицающего возможность диалога с властями, снова обвиняют Валенсу в предательстве и требуют поставить на его место «железного человека»...

«Люди из железа» бывают хороши в кинофильмах или романтических стихах: «Гвозди б делать из этих людей: крепче б не было в мире

гвоздей». Однако в реальной жизни куда нужнее другие люди — умеющие самостоятельно мыслить, находить компромиссы, принимать ответственные решения.

В. ШУТКЕВИЧ

Варшава, февраль 1989 г.

НОВОЧЕРКАССК, 1962

Долгие годы мы лишены объективной информации о том, что произошло 27 лет назад в Новочеркасске.

В дни, когда работает наш Съезд, когда мы ищем ответы на нелегкие вопросы из своего прошлого и настоящего, надо хорошо усвоить уроки истории, в том числе и совсем недавней.

В этом смысле была бы актуальной и, без сомнения, полезной обстоятельная публикация о событиях в Новочеркасске, основанная на документах и свидетельствах очевидцев.

Пусть эта историческая справка, своего рода депутатский запрос к нашей памяти, заставит еще раз задуматься об ответственности поступков и решений.

Народные депутаты СССР:

Людмила БАТЫНСКАЯ, Александр ЕМЕЛЬЯНЕНКОВ,
Александр СОКОЛОВ, члены Союза журналистов СССР.

...Это было 2 июня, ровно 27 лет назад. По радио объявили прямую трансляцию концерта духовых оркестров из городского парка Новочеркасска. Марчевский не поверил своим ушам. Покрутил ручку приемника, прибавил звук. Оркестр радостно звенел медью.

Марчевский вышел из дома, он жил прямо напротив городского парка. На улице стоял танк. Ни одного прохожего. Только где-то за углом слышались мерные шаги военного патруля. Тихо, безлюдно и в парке.

Марчевский вернулся домой. По радио продолжался концерт. «От всего этого можно сойти с ума», — подумал он и выключил приемник. Закрыв глаза, но никак не мог отрешиться от пережитого, увиденного сегодня: стрельба, сухой треск стекол, лопнувших после выстрела танка.

Заканчивался второй день лета 1962 года...

Инженер Геннадий Юлианович Марчевский и сегодня живет в Новочеркасске, работает в вычислительном центре политехнического института. О трагических событиях, свидетелем которых оказался, он говорит вслух второй раз в жизни. Первый раз, еще тогда, 27 лет назад, поделился впечатлениями с соседями. И вскоре его «разбирали» в партоме за распространение вредных слухов. Исключили из комсомола. Не выдавали диплом после защиты. Очень долго его преследовали трудности с устройством на работу. Таков был урок. С тех пор до недавнего разговора с нами об этом молчал.

Были и те, кто, несмотря ни на что, молчать не хотел. Все эти годы пытался передать случившееся гласности, добиться объективного разбирательства Герой Советского Союза, генерал-лейтенант (сейчас в отставке) Матвей Кузьмич Шапошников. Именно за это, как «за действия, несомнимые с пребыванием в рядах партии», он был в 1968 году исключен из членов КПСС. Восстановлен лишь недавно...

Но и самый жестокий запрет все-таки бессилен против правды. Раньше или позже тайное становится явным. Лучше, конечно, раньше.

...Звенящей медью оркестров тогда, в 1962-м, пытались перекрыть не только трагедию, случившуюся в небольшом Новочеркасске, но и драматизм происходящих в стране процессов. Уже миновал пик «оттепели». После оживления экономики, роста производства продуктов питания все отчетливее обозначались признаки спада. Начались перебои с продовольствием. На глазах росли у магазинов очереди за мясом и маслом.

Чем тревожнее становилась ситуация, тем громче звучали фанфары, обещания быстрых успехов, скорого наступления коммунизма. Разрешалось куда больше, чем в сталинские времена. Но разрешалось сверху, без включения широких слоев народа не могло быть гарантий на то, что не будет запрещено завтра. Самое либеральное управление обществом — еще не самоуправление общества. Единственным реальным правом гражданина, коллектива, народа участвовать в решении общегосударственных проблем по-прежнему оставалось право единодушно поддерживать и одобрять.

В октябре 1961-го было обещано, что «советский народ уже в 1962 году должен почувствовать реальные плоды осуществления тех мероприятий по сельскому хозяйству, которые намечены XXII съездом партии». Но резервы «скачков» к этому времени оказались исчерпаны. Вместо «реальных плодов» 1 июня объявили о повышении цен на мясо-молочные продукты. Бурный прилив энтузиазма постановление вызвало только в газетных откликах. В Новочеркасске, городе рабочих и студентов, эту меру восприняли крайне болезненно. Недовольство копилось здесь годами.

Рабочие давно жаловались, что в заводских столовых скверно кормят. А сколько семей мучились в бараках, снимали частные квартиры за 30—50 рублей в месяц — очень дорого по тем временам. Для студентов со скудной стипендией — и вовсе не по карману, общедоступный же на всех не хватало. И заводы почти не строили жилья. На крупнейшем предприятии города — Новочеркасском электровозостроительном заводе стало нормой ежегодное снижение расценок. Причем волевым путем, не всегда обоснованно. Но почти всегда без учета мнения рабочих.

Люди устали от пренебрежения к их интересам. От того, что все решения — на уровне цеха или на уровне страны — принимаются за их спиной. И потому почти одновременное снижение расценок и повышение цен к лету 62-го больно ударило не только по карману, но и по самолюбию.

Вспоминает Н. АРТЕМОВ, бригадир Новочеркасского электровозостроительного завода, делегат XIX партконференции:

— 1 июня 1962 года я опоздал на пятиминутку. Поэтому отправился прямо в свой сталелитейный цех, переоделся, включил машину и начал набивать оплоку. Тут подходят ребята: «Ты чего работаешь?» — «А что же мне делать?» — отвечаю. — «Да, говорят, бастовать надумали. Пошли, разговор с директором будет». Собрались у беседки рядом с цехом. Рабочие стали спрашивать у директора Курочкина, как же теперь сводить концы с концами. А он ответил: «Ничего, на пирожках с ливером перебьетесь». Грубо так сказал, обидно для рабочих. Со всех цехов люди стали стягиваться к заводууправлению. Когда я пришел на площадь, там уже митинговали.

...Как знать, может быть, на том разговоре у беседки и завершились

бы «новочеркасские события», найди тогда директор нужные слова? Не сумел.

Но неужели для этого какое-то особое умение требовалось — выслушать, по-человечески поговорить, понять, чего же хотят люди? Не причен был к этому тогдашний начальник — вот в чем дело, и не только директор Курочкин.

Не обсуждать решения свыше, а выполнять. Не допускать несогласия снизу, подчинять директиве массы (само это слово, широко распространенное, характерно — не люди, а массы). Утвержденные в сталинские времена, эти законы административно-командной системы оставались незбылемыми. Только вот люди становились другими. Всего-то 9 лет прошло после смерти Сталина. А «оттепель» успела разбудить в человеке чувство собственного достоинства.

Издевательский окрик вместо разговора стал спичкой, зажженной возле порохового погреба. Сам Б. Н. Курочкин, ныне пенсионер, предпочитает об этом не вспоминать. Он отказался от встречи с нами, сославшись на болезнь. Зная о том, что тогда произошло дальше, его можно понять.

Вспоминает С. ЕЛКИН, начальник отдела НЭВЗа, в 1962-м — главный инженер завода:

— Кто-то включил заводской гудок. Люди бросали работу, собирались на площади у заводоуправления. Обстановка накалялась. В разгар митинга на заводе появился первый секретарь Ростовского обкома партии Басов. Но повел он себя, на мой взгляд, неправильно. Начал примерно так: да я сам из беспризорников. Стал на свою трудную жизнь жаловаться. А сам-то дядя солидный, холеный. Хулиганы бросили в его сторону бутылки. Мы решили, что Басова надо отправить, помогли ему вылезти из окна к машине, и он уехал.

...Главное, что заботило в тот момент руководителей, как утихомирить людей, вернуть на рабочие места, не допустить широкой огласки. Ведь за это по головке сверху не поглядят. Когда стало ясно, что ситуация окончательно вышла из-под местного контроля и придется сообщать в Москву, больше всего пугала политическая окраска событий.

Рабочие, отчаявшись найти понимание на месте, требовали в общем-то немногого: передать свое мнение правительству. Сообщить, что они недовольны своим положением, прекращают в знак протеста работу. Это требование казалось немислимым!

Куда как проще и безболезненнее для местного начальства было бы теперь уже представить все это хулиганскими выходками, подтолкнуть людей к нарушениям правопорядка. Такие попытки были. Сейчас уже трудно, но, наверное, все-таки можно выяснить, кто стоял за провокацией рабочих на бесчинства, погромы. Откуда полетели вдруг пустые бутылки, откуда зазвучали крики «бей всех, кто в чистом». Уже стали завязываться первые стычки, кого-то толкнули, кого-то ударили...

Но тем не менее рабочие быстро сумели провокационные настроения погасить. Сошлись на том, чтобы утром с красными флагами, портретами Ленина идти всем вместе к горкому партии — заявить свои требования. Послали делегации на другие предприятия города с призывом поддержать их.

А машина, заряженная на подавление «беспорядков», уже работала полным ходом. Ранним утром арестовали наиболее активных ораторов. В город ввели войска.

Вспоминает Герой Советского Союза, генерал-лейтенант в отставке

М. К. Шапошников, в 1962-м — первый заместитель командующего войсками Северо-Кавказского военного округа:

— Руководство частями, которые сосредоточивались к району Новочеркасского электровозостроительного завода, было возложено на меня. А командующий войсками СКВО генерал армии Плиев взял на себя непосредственное руководство частями, находившимися в черте Новочеркаска. С самого начала я был против того, чтобы войска нашего округа, да еще с оружием и боеприпасами противопоставлять рабочим завода и толпе горожан. Мои предостережения действий не возымели.

Я принял решение и приказал своим частям: автоматы и карабины разрядить, боеприпасы сдать под ответственность командиров рот, боеприпасы без моей команды не выдавать.

По радио доложил генералу Плиеву, что многотысячная колонна рабочих идет с красными знаменами к центру города.

— Задержат, не пропустят! — прокричал он в микрофон.

— Голова колонны уже прошла мост через реку Тузлов; да и сил у меня не хватит, чтобы задержать столь многомогущую колонну.

— Высылаю в ваше распоряжение танки.

— Я не вижу перед собой такого противника, которого следовало бы атаковать танками, — твердо ответил я.

На этом наш диалог прервался.

Мы с помощником помчались на «уазике» к центру города, но не доехали до площади метров 100, как услышали массивный огонь из автоматов... В результате применения оружия было убито 22 или 24 человека, в том числе мальчик школьного возраста, ранено 30 человек. На следующее утро я узнал, что убитых тайком захоронили.

Вспоминает А. СИМОНОВ, методист подготовительных курсов при НПИ, в 1962-м — преподаватель заочной школы при горотделе внуртренних дел:

— У горотдела собралась целая толпа. Требовали освободить арестованных утром людей. Наконец под напором распахнулись двери, и люди хлынули в горотдел. Раздались выстрелы, и все побежали обратно.

Шум переместился на площадь перед горкомом партии. Я пришел туда, когда солдаты открыли огонь из автоматов. Началась паника. Люди постарше, видимо, фронтовики, падали и ползли по площади по-пластунски.

Что было дальше, помню плохо. Долго пытались смыть кровь с площади. Сначала пожарной машиной, потом еще какой-то — со щетками, и, наконец, пригнали каток — заасфальтировали все толстым слоем.

Вспоминает Л. ФЕСЕНКО, доцент НПИ:

— Когда я услышал автоматные очереди, то сразу рванул на площадь. Детское любопытство подтолкнуло: мне ведь тогда всего пятнадцать было. Сцена была просто ужасная. Старинная чугунная ограда повалена. Все бегут. Побежал и я. Возле парикмахерской слышу крики: «Парикмахершу убили!» Она в это время работала, и шальная пуля попала в нее. Вдруг шум: по улице идет танк. Он остановился совсем рядом, башня сделала полный круг и раздался оглушительный выстрел — холостой. Огромная витрина магазина вывалилась внутрь, вылетели стекла и в противоположном здании библиотеки, и в других домах до самого начала проспекта.

Вечером и всю ночь из окна нашего дома, выходящего к тыльной стороне горбольницы, я слышал крики: наверное, это родственники по-

гибших и раненых искали своих. К утру все стихло. Улицы патрулировали солдаты в бронетранспортерах.

Диалога на площади перед горкомом не было. Вместо руководителей города, которые попрыгали в надежном месте, людей ждали войска с приказом «применять оружие». С самых первых минут после трагедии было сделано все, чтобы скрыть правду, выгравить ее из памяти людей, запереть в сейфах, которые с большим скрипом открываются и сейчас.

Сразу же широко распространились слухи: «Это все дело рук западных спецслужб», «В толпе у горкома были одни уголовники, они побили все стекла на центральной улице».

...На второй день в город приехали члены Президиума ЦК партии Ф. Р. Козлов, А. И. Микоян. Они встречались с делегатами бастующих. Микоян выступил по местному радио, призывал вернуться на работу. Чуть позже с участием Микояна, Козлова, секретаря ЦК ВЛКСМ С. Павлова состоялась встреча с коллективом политехнического института, заседание городского партийного актива. И уже тогда на любые слова о выстрелах на площади было наложено «табу».

Сразу после трагических событий заполнились продуктами прилавки новочеркасских магазинов, энергичнее стали решаться вопросы с жильем, улучшением быта горожан.

В августе в Новочеркаске состоялось открытое судебное заседание судебной коллегии Верховного суда РСФСР. На нем было рассмотрено дело 14 наиболее активных «организаторов» беспорядков. Семь человек приговорили к расстрелу.

На одноэтажной, почти деревенской улице Новочеркасска стоит очень скромный дом. Здесь жил рабочий электродного завода Андрей Андреевич Каркач. Здесь и сейчас живут его мать, Феодосия Илларионовна, дочь Элеонора Андреевна, внуки. Каркач 1 июня 1962 года встретил на электродном заводе делегацию электровозостроителей, поддержал их призыв и агитировал рабочих присоединиться к забастовке. На суде его обвинили в том, что он «клеветал» на плохое материальное положение трудящихся, тогда как сам живет богато, даже мотоцикл имеет. Его приговорили к расстрелу с конфискацией лично ему принадлежащего имущества. И сейчас напоминанием о тех днях стоит во дворе полуразвалившийся флигель — заброшенный, ничей, конфискованный...

Чуть позже дела других участников событий рассмотрел и Ростовский областной суд. Обвинение было построено не столько на фактах, сколько на ругани и ярлыках. А ведь многие из осужденных по новочеркасскому делу давно вернулись в родной город, и это темное пятно лежит на них по сей день. Мы не вправе утверждать, что все обвинения абсолютно беспочвенны. Но пересмотр тех уголовных дел, тщательный, беспристрастный и справедливый их анализ — наш долг перед лицом правды.

Вспоминает С. ОГАНЕСОВ, юрист, член партии с 40-летним стажем:

— Одна версия представляет происшедшее событие как вылазку уголовных бандитских элементов. По моему мнению, это было стихийным выступлением людей, недовольных своим материальным положением.

Мой подзащитный Гончаров — совсем мальчишка, он оказался в гуще событий скорее всего из любопытства. Но его вынесло в первые ряды, и там он был зафиксирован на фотопленку. Убедительных доказательств его вины как организатора беспорядков не было. И тем не

менее он был приговорен к десяти годам лишения свободы. Подсудимых выбирали скорее не по их конкретным действиям, а визуально, кого больше заметили, выбрали и тех, у кого была судимость в прошлом. На мой взгляд, стремились скомпрометировать участников волнений, создать видимость бандитского заговора...

Размышляя о трагедии Новочеркасска 62-го, все время держишь в уме трагически противоречивую фигуру тогдашнего политического лидера — Н. С. Хрущева. Уже близок был к завершению период его руководства. Но не только внезапная отставка прервала «оттепель». Кризис начал развиваться гораздо раньше. Новочеркасские события — тому подтверждение.

Он бился за резкое увеличение производства зерна, вкладывал огромные средства в гигантское расширение посевов, но именно в его время страна впервые стала закупать зерно за рубежом.

Его решения были нацелены на расширение кормовой базы в животноводстве и увеличение производства мясо-молочных продуктов. Но как раз в начале 60-х возникли серьезные перебои со снабжением этими продуктами. И палочка-выручалочка — кукуруза, с помощью которой намечалось кормовую проблему решить, была позже высмеяна, предана анафеме. Да так, что и до сих пор мы пожинаем плоды возникшего в итоге кормового дисбаланса — покрываем недостаток изгнанной с поля кукурузы ценной пшеницей.

Что тут — наша знакомая кампанейщина, способная довести до абсурда, загубить самое здоровое решение? Безудержность исполнитель-бюрократов, заботившихся не о деле, а об «охвате», «проценте выполнения»?

Или политическая борьба, в которой компрометация политики Хрущева и его самого стала главным средством?

— Я убежден, — говорит доктор экономических наук профессор И. Г. Шилин, — что экономическая политика Хрущева искажалась и дискредитировалась вполне сознательно, целенаправленно. Упор делался на искажение разумных идей при их реализации, разжигание в народе недовольства реформами. И — что очень важно — на необоснованность планирования. Мне довелось работать в Госплане. И я лично сталкивался с попытками внедрения ненаучных, вредных методов расчетов при планировании, попытками дисбалансизации планов, дестабилизации экономики. К несчастью, эти попытки при Хрущеве имели успех. Семи-летний план, по глубокому моему убеждению, был главным ударом сил торможения. Хрущеву сумели навязать этот абсолютно несбалансированный план. Принятие его стало последним шагом к провалу. И повышение цен на продукты в 1962 году — плата за принятие этого плана. Хотя само упорядочение цен было объективно необходимо. Но в условиях резкой несбалансированности экономики в целом, и цен в частности, эти меры ничего хорошего дать не могли.

...Версию о том, что противникам Хрущева удалось сознательно скомпрометировать его в глазах общественного мнения, подготовить отставку, торпедируя исподволь важнейшие идеи лидера, умело используя его же промахи и противоречия, доказать документально непросто. Если это и так, то главным своим противником был тем не менее сам Никита Сергеевич. Сохраняя авторитарный метод руководства, Хрущев полагался прежде всего на себя, но в одиночку не справится с системой, даже занимая самый высший пост.

Больше всего оснований бороться с Хрущевым было у сторонников и лидеров системы административно-бюрократической. Именно в ее

кровных интересах было поэтому тем реформам энергично сопротивляться, добиваясь всеми способами дестабилизации экономической и политической. Провоцировать кризисы. Эти цели и интересы были противоположны не только хрущевским, но интересам тех же рабочих НЭВЗа.

Трагический парадокс. Объективно и Хрущеву, и нэзовцам в том конфликте противостоял общий противник. Но вышли на улицы рабочие с антихрущевскими лозунгами. И на руку эти события оказались как раз тем, кто всеми средствами стремился приблизить отставку лидера, подорвать его авторитет.

Вполне понятно, что вся социально-экономическая политика того периода с ее достижениями и провалами отождествлялась только с ним, только с его именем. И все свои беды нэзовцы связывали в первую очередь с личностью Хрущева.

Правда о новочеркасских событиях нужна нам сегодняшним. Это ясно сейчас многим. Готовя материал, мы встречались с работниками Новочеркасского горкома и Ростовского обкома партии. И нашли поддержку, понимание того, что необходимо восстановить истину, найти места захоронения погибших, объективно разобраться в происшедшем. И это очень важно.

Уроки прошлого надо учить прилежно. Задача для нас сейчас самая что ни на есть практическая.

Юрий БЕСПАЛОВ,
Валерий КОНОВАЛОВ

От редакции: «Комсомольская правда» благодарит работников Ростовского обкома КПСС и Новочеркасского горкома КПСС за помощь в подготовке этого материала.

БРАТЬЯ?..

...Испытываю внутреннее сопротивление. Разумеется, радость встречи на другом материке с теми, кого увидел, узнал на своем, понятна. И все же — эта готовность мужчин кинуться друг другу в объятия, эти постоянно подбадривающие, как бы подогревающие даже, похлопывания по спине... Здесь, в Америке, наших ребят «афганцев» встречают часто и вовсе не знакомые «вьетнамцы» — откуда это неизменное, сразу, без каких-либо помех выговариваемое обращение «брат»? Неужто эти молодые люди, почти мальчишки, выполнявшие, как мы продолжаем говорить, свой интернациональный долг в Афганистане, и пятидесятилетние, а то и старше, мужи, воевавшие против дружественного нам народа Вьетнама, и в самом деле, как написано на специально изготовленных к нашему приезду майках, — «братья по оружию»?

Здесь, в Вашингтоне, я вспоминаю маленькую Тху, двенадцатилетнюю вьетнамскую девочку, о которой когда-то рассказывала на страницах газеты. Она была награждена поездкой в «Артек» за то, что убила больше, чем другие дети, американских солдат — быть может, кто-то из наших хозяев был под ее прицелом? Мы встретились с ней спустя много лет, после войны, во время фестиваля в Москве, она все время пыталась нам, ее друзьям, улыбаться, но часто, очень часто болезненно сжимала

ладонями виски — дикая мигрень, непроходящее следствие контузии на той войне. И что же, я, которой Тху так дорога, им, контузившим ее, — сестра?

Истина, говорит мне профессор Кеппс, приходит к нам из трех источников: из вечных книг, из наших сердец, а самая глубокая — из голов незнакомых.

«Голоса незнакомых» — так и называется курс профессора Кеппса в Калифорнийском университете. Мы познакомимся с профессором в Санта-Барбара, небольшим белом городе на побережье Тихого океана. Но и на побережье Атлантики, в Нью-Йорке, я убедилась, тоже знают его имя. Этот немолодой человек с глазами ребенка — создатель двух новых университетских курсов. Первый — о вьетнамской войне. Это не обычные лекции, рассказали мне Лиза Холл, будущий психолог, и Кори Хоффман, выпускник факультета международных отношений. Это скорее беседы. Часто приходят ветераны, их родные — речь не только о самой истории войны, сколько о ее непроходящих последствиях. О том, с чем столкнулись солдаты дома. «Профессора интересуют не те факты, которые мы узнали, а те мысли и чувства, которые разбудили в нас эти факты».

Та истина прочна, что извлекается не только из книг — из собственных сердец.

А потом следует курс «Голоса незнакомых». О желании слушать, умения слышать и способности понимать тех, кто по твоим убеждениям или просто по инерции личного опыта незнаком тебе или даже чужд.

На одну из лекций этого курса мы и приглашены. Мы — это я, журналист, Игорь Морозов из Союза ветеранов Афганистана и Саша Немешаев, заместитель председателя совета «Ветераны за мир». Потом ребята, приняв шуточно-важный вид, говорили: «Когда я читал лекцию в Калифорнийском университете...» Лекция не лекция, но все же час у микрофона, аудитория — 600 человек, речь о войне, и столь непопулярной в мире, град вопросов — «Как вы относитесь к стране, которая вас на эту войну послала?», был и такой, но Саша и Игорь говорили раскованно, прямо, искренне. Такой дружелюбно-чуткой, такой готовой не только слушать, но и услышать была эта аудитория.

Мы много говорили в этом путешествии: на специально организованных митингах и стихийно возникавших встречах, за обеденным столом и перед камерами национального телевидения. И все же больше мы слушали. Ведь ветераны вьетнамской войны пригласили группу ветеранов войны в Афганистане с целью передачи своего опыта преодоления последствий войны: «Вы не должны повторить наших ошибок!»

Незнакомые голоса. Мы слышали их в ветеранских центрах, сеть которых покрыта страна, и в госпиталях для ветеранов, поражающих воображение своей оснащенностью; в домах для бездомных, не вмещающих всех желающих туда попасть, и в центрах психологической помощи, где алкоголизм и наркоманию лечат не таблетками, а умением вызвать к жизни собственные душевные силы сопротивления.

Вот они, эти голоса, оставшиеся у меня в блокноте:

«Мне до сих пор часто вспоминается мой последний бой. Он шел четыре часа, и после него из 56 человек нас осталось лишь трое. «Все хорошо, капитан!» — воскликнул солдат, увидев, что я жив. «Нет, сын мой, — ответил я ему. — Теперь никогда уже не будет хорошо».

«Едва ступив на родную землю, я кинулся в телефонную будку позвонить домой. А когда вышел, человек, ожидавший у будки своей очереди, спросил: «Ты воевал во Вьетнаме?» и, услышав утвердительный от-

вет, плюнул мне в лицо. Мы долго и жестоко дрались — это был первый человек, которого мне по-настоящему хотелось убить — на войне ведь стреляешь, чтоб не стрельнули в тебя. Парадокс заключался в том, что я был убежден: воюю за то, чтоб этот человек имел право протестовать против войны. Нам ведь сказали, что мы во Вьетнаме спасаем нашу демократию...»

«Кеннеди говорил: «Важно не то, что эта страна делает для тебя, — важно то, что делаешь для этой страны ты». И я пошла работать в госпиталь медсестрой, чтобы помочь тем, кто так много делает для своей страны — так я тогда думала. А мальчики, возвращаясь, снимали форму в туалетах, чтобы их не узнали. Вернувшись, я молчала целых 12 лет. Многие женщины, участвовавшие в войне, молчат до сих пор, и это приводит их ко многим бедам».

«Как только я вернулся — кинулся к отцу рассказать о том, что узнал, что пережил. Но отец сразу остановил меня: «Не теряй времени — я ничего не хочу об этом слышать». Тогда я снова уехал во Вьетнам».

«Когда я пришел с войны, я мог говорить только о том, что я там видел. Но быстро понял: окружающим это неинтересно. Тогда я стал искать таких же, как я. Думаю, это меня и спасло. Те, кто замолчал, стали тем самым на первую ступеньку, которая привела их к болезни — наркотикам или алкоголю, агрессивности или депрессии, все равно. Человек не может и не должен оставаться один на один с войной».

«На войне у меня выработалось правило: то, что меня пугает или мне угрожает, — необходимо уничтожить. В мирной жизни тоже было немало вещей, которые мне угрожали. И я тоже хотел их уничтожить. Так я попал за решетку».

«Я долго не мог общаться со своими детьми. Я видел детей там, на войне, с оторванными руками, ногами, с простреленными головами... И мне казалось: если я подойду к своим детям — с ними будет то же самое. Только длительное посещение занятий в психологическом центре спасло меня от разрыва с семьей».

«Я вернулся целым, с руками и ногами, но потерял себя. Ведь выяснилось, что я участвовал в войне, которую называли грязной. Три раза я пытался покончить с собой. Мне и сейчас бывает очень нелегко, но я знаю, к кому мне в таком случае идти: психолог — советник нашего центра, такой же ветеран, как и я».

«Война нагнала меня тогда, когда я уже и думать, казалось, о ней забыл. Первый кошмар пришел ко мне ночью — через 17 лет после войны...»

Поразила цифра: число людей, убивших себя после войны, превышает число убитых на самой войне...

Конечно, мы знали, что такое «вьетнамский синдром», — об этом много писали у нас. Но были истины, которые мы открыли не из книг — из этих голосов людей, прежде незнакомых. Например, то, что во Вьетнаме воевали не самые образованные американцы — иначе прозрение наступило бы еще до войны, не самые богатые — те просто откупались, как это всегда и везде было. Но отнюдь не самые плохие! Многие были доверчиво патриотичны. Им сказали, что надо спасти американскую демократию, и, любя Америку, они пошли ее спасать. Но разве нашим мальчикам не сказали нечто похожее? Разве не верили и они, что борются за правое дело? После одной из встреч услышали яростный спор наших в машине: «Что ты говорил сейчас? Как ты мог? Ты что, до

сих пор веришь, что боролся с бандами? Можно ли девять лет бороться с бандами?»

И все же, все же... В рассказах ветеранов Вьетнама, мне казалось, больше того, что отличает нас, чем роднит, — кто плевал «афганцам» в лицо? Но вот в Нью-Йорке, в конце нашего путешествия садятся за стол четверо ветеранов — Игорь Захаров, Владислав Тамаров и два американца, журналист самой известной газеты Америки «Нью-Йорк таймс» задает им одни и те же вопросы: с какими мыслями они шли на войну, с какими вернулись и как их встретили — и все четверо отвечают одинаково!

«Советские и американские ветераны: сражения на домашнем фронте» — такой был потом заголовок у этого интервью.

Войны разные и вместе с тем похожие — это, наверное, в первую очередь делало похожими их, таких разных. Страна продолжала жить прежней жизнью — худо-бедно или, наоборот, богато. А они вдали от нее падали убитыми и убивали, жгли и оставались сами обожженными навсегда. Непопулярность обеих войн — вот что питало общность чувств. «В лицо нам не плевали, — сказал Саша Немешаев в Калифорнийском университете, — но в душу плевали не раз».

Но я обратила внимание: и о самой войне, и о ее видимых и невидимых шрамах наши говорили не так словоохотливо, как американцы. Парадокс — американцы легко, едва спросишь, а то и без спроса, рассказывали нам, русским, советским, пять минут назад незнакомым, о том, как им трудно было общаться с родными! Не только откровенность этих людей поражала, но и их умение анализировать свое психологическое состояние и, главное, готовность извлечь из этого анализа уроки для нас. И вам, мол, польза и для нас выход в мир. В городе Сан-Диего, в центре ветеранов мы все сели в кружок, посредине, прямо на полу устроился психолог-советник, есть такая должность в каждом центре, он пригласил к разговору сначала хозяев, и каждый заканчивал рассказ о себе советом: «Каждому надо сбросить груз войны — каждому!»

Когда кончили исповедь хозяева — советник пригласил к разговору гостей. И я увидела, что открываться так, на людях, нашим совсем не хотелось. Один из членов делегации, тихонько выскользнув за дверь, потом сказал: «Как они о себе... И кололся, и пытался покончить с собой... И при всех — я так не могу».

Другая культура? Или, как принято теперь выражаться, иной менталитет? Заметил же один «афганец» из нашей группы: «У них отношение суше — вот и приходится искать психолога. Для меня лучший психолог — мой друг Ленька. Накатит на меня война — я с Ленькой запрუს на день — глядишь, и полегчает». Эту же мысль будто бы подтверждает и замечание, оброненное современной нашей популярной писательницей, читавшей недавно лекции в одном из американских университетов. По свидетельству ее переводчика, она попеняла своим слушателям: «И что это вы чуть что — и к психологу? Вот мы считаем — душа обязана страдать».

Возможно, и я бы думала, что все дело лишь в разнице менталитетов, если бы не исповедь Шеда.

«О, Шед!», «Как вам повезло — вы едете в Калифорнию к Шеду!», «Шед — брат, мы сразу, как он приехал, поняли, что это брат. И вы, вот посмотрите, назовете его братом» — это имя я услышала еще в Москве. После Вашингтона наша группа разделилась на несколько маленьких, мы разъехались по разным маршрутам. И я не видела, как в Сан-Франциско делали для Коли Чуванова, потерявшего ногу в Афганистане, но-

вый протез — «Мне снится один и тот же сон — я бегу по полю. Может, и вправду теперь научусь бегать?»; как в Кливленде рабочие в свой обедный перерыв собирали коляску — «Вот счастливицу ее получит! Разве сравнишь с нашей?»; не слышала, как один такой «счастливчик», Саша Карпенко, едва не сторевший в танке, — три года в госпиталях — читал свои стихи в собственном переводе на английский, а слушатели смотрели на его обожженное лицо и плакали...

А мы увидели Шеда Мешада и Калифорнию. Они, как мне показалось, очень друг на друга похожи. Много солнца и свежий, морской, не допускающий духоты ветер... Говорливый, быстрый, улыбчивый, будто беспечный, Шед тем не менее зорко всматривался в наши лица, мгновенно замечая, когда кто-то из ребят задумывался, уходил в себя — скулы болели от его постоянных шуток, а неизменное, протяжно-вопросительное или лихо-утвердительное «Ноу проблем!» до сих пор звенит в ушах.

Но именно этот весельчак Шед — привычка? Натура? Или просто психотерапия? — именно Шед, сказал мне профессор Кеппс, и помог ему составить курс, такой курс о вьетнамской войне.

Однажды утром Шед потащил нас на Венис-бич, «пляж Венеции» близ Лос-Анджелеса, «крэйзи пляж», сумасшедший пляж, как определила, недоуменно подняв бровь — «зачем туда?», — хозяйка дома, где мы жили, учительница. И мы увидели, как этот белесый, выцветший на солнце песок и в самом деле как-то сумасшедше шевелится — кто-то бешено стучал по клавишам пианино, кто-то ходил на голове, кто-то забывал узнать судьбу, а у самой кромки океана на плюшевом драпом диване сидел старик — двое полицейских переминались с ноги на ногу рядом, пытаясь взять у него штраф за незаконное проживание, а старик, одной рукой держа бутылку вина, другой выворачивал пустые карманы...

Но именно здесь, а не в университете, не на митинге, не в госпитале, не в своем доме, Шед вдруг стал задумчив, серьезен и внезапно начал свой рассказ о том времени, когда ни ветеранских центров, ни программ психологов, ни домов для бездомных ветеранов — ничего этого не было. Было одно — равнодушие: «Америка предала нас». Весь этот пляж тогда был оккупирован бывшими солдатами — обросшими, грязными, слоняющимися без дела, многие тут и жили, как этот старик на плюшевом драпом диване, и бутылка вина каждый день — это было самое невинное, что они себе позволяли. Шед был одним из них. И когда знакомый врач, зная, что он, офицер, имеет психологическое образование, попросил ему помочь: «Почему-то ветераны в госпиталь не идут» — Шед отказался: «Я дал себе слово ни в чем, исходящем от правительства этой страны, не участвовать».

И был, оказывается, не прав. Психолог из Сан-Диего, когда я недоуменно развела руками на его замечание, что негативное отношение к социальным институтам необходимо преодолеть: «А если эти институты того заслуживают?» — сказал мне, что мало храбрости и мало пользы для любого человека кивать лишь на негодность любых институтов общества — это ничего не меняет в институтах, а человека обессиливает и часто ведет на дно.

Шед ведь прекрасно понимал, почему не идут ветераны в самые замечательные госпитали: «Во-первых, не верят врачам, которые всякое отклонение от нормы считали психиатрическим заболеванием — кому охота попасть в сумасшедший дом? Во-вторых, не понимали себя, считая, что достаточно собраться им здесь на пляже вместе и станет легче — зачем врач?»

В этом месте рассказа Шеда я вспомнила того самого Леньку, который, как ему кажется, заменяет одному из моих молодых друзей психолога. Но не будешь же Леньку таскать за собой — когда наш самолет однажды чуть заболтало, я, признаться, и не заметила этого, а Ленкин друг, поблдевав, быстро глотнул пару таблеток: «Ничего не могу с собой поделать: всегда кажется — вдруг собьют?» Наши еще в начале той дороги, которую уже прошли американские ветераны — вот в чем дело! Конечно, менталитеты разные, нет у нас Венис-бич, но и алкоголики, и наркоманы есть среди «афганцев», известны уже случаи самоубийств — чего же ждать? Где наши центры психологической помощи? Вначале я недоумевала: зачем каждому центру психолог-советник, если ветераны в эти центры уже идут и охотно извлекают из душ осколки войны? «Нет, — отвечали мне в каждом центре, — если их оставить одних — они не избавятся от войны. Наоборот, на войне, пережевывая ее подробности, остановятся».

Шед все же пошел работать в тот госпиталь, не сразу, но пошел. И не только для того, чтобы спасти тех, кто стоял уже у бездны, хотя спас многих, ему они верили и в госпиталь пошли, многие, правда, слишком поздно — «Я сам похоронил 18 человек». Шед пошел в госпиталь главным образом для того, чтобы объяснить врачам: те отклонения, которые они видят, — не шизофрения, как они думают, а прямое следствие войны. Такой войны. Теперь специалистам всего мира уже известно, что это такое — посттравматический синдром. А тогда за такой диагноз приходилось драться, извлекая людей из тюрем или психушек: «Не повторяйте наших ошибок».

Шед стал известен. И когда один ветеран, гуляя по густому городскому парку, вдруг вообразил, что он в джунглях Вьетнама — «накапало, так бывает», и первых встреченных им людей захватил в плен, — позвонили Шеду. Тот сказал, что вмешается в это дело при одном условии, если ветерана потом поместят в госпиталь, а не в тюрьму. Ему пообещали это, и он сел в вертолет. Вертолет приземлился рядом с несчастным и его жертвами, и Шед, в мегафон назвавший свое воинское звание, приказал ветерану передать ему его пленных. Тот послушался приказа — он же был на войне. Но полицейские не послушались, для них тот несчастный был обычным преступником. Тюрьма вместо обещанного госпиталя? «Тогда я понял, что мало чисто медицинских программ, нужны социальные». Он стал писать статьи в газеты, он участвовал в создании ветеранского центра в Лос-Анджелесе, первого в стране, ныне Шед — руководитель Фонда помощи ветеранам Вьетнама. Правительство правительства, а людские сердца, согретые любовью к ближнему, все же надежнее. Впрочем, американское правительство такую благотворительность поощряет — системой налогов. Отчего бы не задуматься и нам над этим?

Рассказ Шеда, начатый на Венис-бич, то и дело прерывался — так плотна, насыщена была наша программа — но, уловив минутку, он снова и снова возвращался к началу ныне стройной, продуманной и очень разветвленной системы реабилитации людей, переживших военный стресс. «Но чего же это стоило!.. Даже после того как я выступил в конгрессе и меня слушала сама жена президента, пришлось преодолеть столько рогаток бюрократов!..»

Мы тоже были в конгрессе. Нашу делегацию принимал один из руководителей комитета ветеранов, конгрессмен Эванс, рассказывая о помощи государства ветеранам-«вьетнамцам» — только одна цифра: пенсия тем, кто по инвалидности работает не может, составляет 1400 долларов

без налогов; Эванс тоже не преминул заметить: «Мы долго, слишком долго добивались всего этого, теряя товарищей. Да и сейчас бывает, что и льготы надо на местах выбивать, и синдром, который определен и изучен, тем не менее отказываются иногда лечить в госпиталях. Слишком непопулярна эта война...» И добавил: «Вы в начале пройденного нами пути. Но вам легче — у вас есть наш опыт».

Эванс выступал перед нами на фоне многочисленных флагов, выстроившихся у него за спиной. То были флаги разных ветеранских организаций. У нас сейчас тоже централизованно и самостийно возникает объединение, союзы, клубы «афганцев». И этому, как учит опыт американцев, не надо ни удивляться, ни тем более препятствовать. Удивляться приходится тому, что эти объединения начинают лихорадить некая борьба за власть, за единственность представительства. Вернувшись в Москву, с недоумением читала в «Известиях» заметку коллеги о том, что не нас, а кого-то другого должны были принимать в американском конгрессе. Читала и вспоминала многочисленные флаги, равноправно стоящие в зале конгресса... И здесь истина из голосов незнакомых извлекается нами с трудом.

«Отделить войну от солдата» — это выражение мы услышали уже в самом начале нашей поездки, в Вашингтоне, в автобусе, который вез нашу группу к мемориалу. Был день Памяти — есть такой день в Америке, когда поминуют всех погибших солдат. Потом, когда мы уже возвращались домой, в самолете, я спрашивала ребят, что произвело на них самое большое впечатление в этой поездке, и они один за другим отвечали: «Мемориал». В самом дорогом для американца месте, Молле, его называют сердцем страны, где величественными колоннами, взметнувшейся стрелой, белым куполом на зелени травы и деревьев высится мемориал отцам американской нации Вашингтону, Линкольну, Джефферсону, установлена черная гранитная стена ее детям, жертвам неправой войны. Черная гранитная стена, как раскрытая книга, страницы которой от земли поднимают имена погибших. 58 тысяч имен. Черная гранитная стена — как зеркало. Ты подходишь и видишь свое отражение — и на тебе имена погибших...

Какое сопротивление пришлось испытать тем, кто задумал и осуществил это! Общество — любое — всегда стремится стыдливо спрятать свои язвы. Не потому ли нет такого мемориала у нас?..

Прошло много лет, пока в Америке научились «отделять войну от солдата». Пусть не солдат, пусть те, кто из мальчиков сделал солдат, отвечают за эту войну.

Молодые, веселые наши ребята, быстрее других английских выражений усвоившие бодро радостное «Ноу проблем!», у черной гранитной стены не могли сдержать слез. Есть, есть проблемы, ох, много еще впереди у них проблем!.. Я вспоминаю того американца, к которому военные кошмары пришли через 17 лет... У войны — далекое эхо. Игорь Морозов сказал мне, что чувство смерти пришло к нему не на войне — «там скорее было чувство охотника». А спустя несколько лет, дома, когда хоронили очередной свинцовый гроб и женщина, мать, все время пыталась лечь в землю вместе с этим гробом... Как-то американский психолог спросил от одного из наших ребят: «Есть проблемы?» «Нет», — быстро ответил тот. «А ты участвовал в боевых операциях?» — «Да, конечно». — «Тогда синдром будет у тебя обязательно».

Да только ли это... Отношение к войне, в которой они участвовали, меняется. Сначала это была неизвестная война — не только мы все, но и те, кто ехал в Афганистан, думали, что едут прокладывать дороги, са-

жать деревья, строить школы... Я хорошо помню, как в очерке «Долг» в 1984 году наша газета первой пробила брешь молчания вокруг тех, кто вернулся, — нам так и не удалось отстоять невинную фразу: «Воюющие дети своих невоевавших отцов». Война шла, но ее как бы и не было. «Первый психологический шок мы получили тогда, — сказал Саша Немешаев, — когда, вернувшись, увидели: никто не знает, что мы воевали!» Потом слово «война» было легализовано. И она стала войной героев. Одни победы. Только подвиги. Ура интернационалистам. Стереотип героя привлекателен, разумеется. «Но если б вы знали, как он мешает жить! — сказал мне Миша Вишняков. — Именно таким романтическим восприятием нас я, например, объясняю большое количество разводов среди «афганцев» — завышенное ожидание у невест... А мы обыкновенные парни. И очень разные».

Кое-кто хотел бы сохранить воинский пыл «афганцев», приобретенный некоторыми черно-белый взгляд на жизнь, — свои и «контра» — для экстремальных ситуаций в мирной жизни. И мы уже знаем случаи самосуда. Нет, героизация этой войны опасна. Очень точно сказал Володя Бавин: «Психолог нужен нам всем — хотя бы для того, чтобы на вопрос «Хотел бы ты вернуться в Афганистан?» — не услышать, как можно услышать сегодня, ни одного «да».

Теперь наступает третий этап в восприятии афганской войны — это уже война ненужная. Ее полное, глубокое, критическое осмысление еще впереди, но и сегодня мы уже вплотную подошли к тому противоречию, которое так долго преодолевалось в Америке: чем больше правды о войне, тем труднее жить ее солдату. Тень от войны уже начинает падать на ребят... Но это несправедливо, несправедливо! Отделить войну от солдата — это, быть может, спасти поколение. Столько сегодня разного рода конфронтаций — неужто допустим еще и эту?..

Когда я спросила профессора Кепса, какова главная цель его курса о вьетнамской войне, он рассказал мне о своей поездке со студентами — с одного конца страны в другой — к мемориалу. Там нежданно для него одна студентка попросила всех собраться в круг и, не упоминая имени бога, но, подняв голову к небу, сказала: «Пусть весь дурман в душах, навеянный этой войной, рассеется. Пусть все разногласия в отношении к этой войне исчезнут. И нация наконец выздоровеет. А мы поклонимся сделать все от нас зависящее для такой консолидации». Его курсы — это курсы воспитания патриотизма. Не военно-патриотического воспитания, которым многие у нас, в том числе и некоторые «афганцы», озабочены в первую очередь. А антивоенного патриотического воспитания. Перед студентами выступают не только ветераны Вьетнама, но и те вьетнамцы, против которых они воевали. Чтобы закрыть последнюю страницу этой войны, несколько лет назад послала делегацию ветеранов во Вьетнам. Далеко не все были здесь довольны, когда узнали, что американская делегация возложила венок Хо Ши Мину: «С уважением...» Быть может, этих американцев видела моя маленькая Тху? И что она думала при этом?.. Впрочем, от стереотипов быстрее освобождаются, как ни странно, те, по ком они прошли самым тяжелым катком.

Человек редко ощущает дыхание истории рядом. Обычно лишь спустя время ты осознаешь: был участником исторических событий. В этой поездке нельзя было не ощутить: на наших глазах творится история. Первые «афганцы» у «вьетнамцев». Встречаются люди, которые называли себя еще вчера врагами. «Я ранен вашим автоматом Калашникова», — сказал Коле Чуванову один ветеран. И получил незамедлительный

ответ: «А я вашей ракетой». Спустя мгновение они молча стояли, обнявшись...

В городе Сан-Диего, у самой кромки океана, где на зеленом холме к нашему приезду установили красный флаг, нам подарили майки с изображением нашего автомата, скрещенного с американским ружьем. Дулами вниз — «Мы сложили наше оружие». За длинную жизнь я не раз ездила за границу, в разные страны и с разными группами — нигде, никогда на моей памяти не принимали так горячо советских людей, как в этой поездке по Америке. Сила излитого на нас тепла была прямо пропорциональна силе бывшего — но изжитого ли до конца? — противостояния. «Если уж мы встречаемся, как братья, значит, мир без войн возможен, возможен!»

В консолидации нуждаются не только нации — все человечество. «Хранители земли» — так называется фонд, который вместе с Фондом социальных изобретений СССР задумал и организовал эту поездку. Есть ли сегодня миссия важнее той, что взяла на себя американская женщина Дайяна Глазго, — мирить людей, находящихся в конфликте? 23 раза была она в Советском Союзе, и вряд ли кто у нас знает так же хорошо проблемы «афганцев», как эта американка из маленького городка под Сиэтлом. Где Сиэтл и где Москва? Но Дайяна расплакалась, когда узнала, что среди «афганцев» начались разногласия.

На прощание мы с Шедом обмениваемся своими книгами. Его книга — о войне, моя — о мирной жизни, в которой тоже, увы, стреляют и потому очень, очень нужны молодые люди, которые, упоминая или не упоминая о боге, молились бы, работали бы не покладая рук для оздоровления и консолидации наций. Эти книги похожи и непохожи, как наши жизни. Но будем помнить завет немолодого профессора с глазами ребенка о путях, которыми приходит к нам истина. Вечные книги человечества неисчерпаемы, как и сердца, согретые любовью, голоса же незнакомых должны помочь нам в постижении собственных проблем.

На книге я, чуть помедлив, пишу: «От сестры».

ИННА РУДЕНКО

СОДЕРЖАНИЕ

О. Мариничева. «До основания. А зачем?»	3
А. Афанасьев. «Лунный ландшафт»	6
А. Калинин, О. Мусафирова. «Стачком»	13
Д. Шевченко. «Прошу меня расстрелять»	18
С. Дроздов. «Митьки»	24
В. Шуткевич. «Человек не из железа»	28
Ю. Беспалов, В. Коновалов. «Новочеркасск, 1962»	32
И. Руденко. «Братья?..»	38

1989: НАДЕЖДЫ И ТРЕВОГИ

Редактор В. А. Ф р о н и н

Составитель С. А. К у ш н е р е в

Художник В. А. С и н ь к о в с к и й

Технический редактор Е. Б. Б е р е з к и н а

Сдано в набор 04.10.89. Подписано к печати 15.11.89. Формат 84 × 108¹/₃₂. Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Печать офсетная. Усл. печ. л. 2,52. Усл. кр.-отт. 2,84. Учетно-изд. л. 3,86. Тираж 100000 экз. Заказ № 1294. Цена 15 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865 ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.